

Владимир Санин

Семьдесят два градуса ниже нуля

Железным людям – походникам Антарктиды

ВСТУПЛЕНИЕ

Поезд шёл по Антарктиде.

Шесть запряжённых в сани тягачей во главе с «Харьковчанкой» двигались по колее, утрамбованной поездами предшественников. Наступавшая ночь покрывала Антарктиду сумерками. Оттого снег, ещё несколько часов назад ослепительно белый, окрасился в темно-серые тона. Темно-серыми были тягачи, и колея, и небо над головой, и миллионы квадратных километров ушедшего в ночь материка. Лишь искры, вылетающие из выхлопных труб тягачей, да звезды, тусклый свет которых изредка пробивал нависшие над ледяным куполом облака, позволяли увидеть оранжевые бока «Харьковчанки» и причудливо раскрашенные стены балков.

Это был самый обычный санно-гусеничный поезд. Такие из года в год бороздят Антарктиду, доставляя грузы из Мирного на Восток и возвращаясь обратно. Полторы тысячи километров в один конец, сорок дней пути туда, дней тридцать обратно — вот и всё дела. Тяжёлая дорога, но давно протоптанная, до метра знакомая.

Однако никогда ещё поезд не возвращался с Востока в полярную осень.

Все когда-нибудь делается в первый раз. Кому-то судьба быть первым. Так было испокон веков: кто-то должен начать, испытать на себе, открыть. Вот и получилось, что десять человек на «Харьковчанке» и ещё пяти тягачах первыми пошли по Антарктиде в полярную осень.

Вздвигнув всем телом, остановился один тягач, за ним другой и все остальные. К заглохшей машине подтягивались люди. Они двигались тяжело и медленно, как-то скособочась. Но ничего странного в такой походке не было: быстро ходить по ледяному куполу не стоит — кислорода в воздухе как на вершине Эльбруса, и воздух этот сух, как в африканской пустыне. А скособочась они шли потому, что хотя их лица и были закрыты подшлемниками, так что виднелись лишь щёлки глаз, всё равно ветер пламенем обжигал кожу.

Люди остановились у тягача, негромко переговариваясь. Осмотрели, не торопясь, заглохший дизель, выяснили, что лопнул дюрит — резиновая трубка маслопровода. Принесли новый дюрит, заменили лопнувший. Потом посоветовались и приступили к операции. Отвернули горловину цистерны и стали черпать оттуда густую массу, похожую на перенасыщенный крахмалом кисель. Набрав этой массы полбочки, разожгли из горбыля костёр и поставили бочку на огонь. Спустя некоторое время масса начала таять, и от неё потянуло запахом солёнки; тогда в бочку вставили одним концом шланг, а другой его конец сунули в топливный бак тягача. Двигатель не успел по-настоящему остыть, и его запустили быстро, за час. Затем разошлись по своим тягачам и снова двинулись в путь. Впереди «Харьковчанка», за ней остальные машины.

От ближайшего жилья, станции Восток, их отделяло четыреста пятьдесят километров снежной пустыни. До Мирного, куда шёл поезд, — тысяча.

Десять человек были одни во всем мире, одинокие, как на Луне. Никто на свете не мог им помочь: люди сюда не придут, самолёты не прилетят.

Столбик термометра застрял на отметке семьдесят два градуса ниже нуля...

СИНИЦЫН

Под утро Синицыну приснилось, что он ведёт трактор по припаю. «Бери влево! — слышит он. — Разводье!» Синицын начал лихорадочно орудовать рычагами, но всегда послушный его рукам трактор, яростно взревев, на полной скорости рванулся к свинцовой воде. «Прыгай! Прыгай!» — отчаянный крик. Но поздно: трактор с грохотом проваливается.

Синицын проснулся от своего сдавленного стога. Море штормило. В каюте было душно. Синицын отёр со лба пот, поднялся с постели и подошёл к окну. Баллов пять, не больше. Вдали по правому борту возвышался исполинский айсберг, длиной, наверное, с километр, слева простиралось ледяное поле. Скука... Синицын взглянул на верхнюю полку, на которой похрапывал Женя Мальков, завистливо вздохнул и снова улёгся.

Не так он представлял себе первые дни возвращения домой.

Впрочем, подумал он, мечты всегда краше действительности. Три раза зимовал он в Мирном, и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья. Да разве только ему? Всем. Но возвращаться приходилось на «Оби», которая из Мирного отправлялась сначала по остальным станциям — разгружаться и менять зимовщиков, забирать сезонников, и дорога домой растягивалась на два с половиной месяца. Поневоле осатанеешь. Правда, сейчас Синицын возвращался на «Визе», но это тоже сорок дней и сорок ночей.

Синицын закрыл глаза и принялся уговаривать себя заснуть. Всего два дня прошло, как закончилась самая тяжёлая в его жизни зимовка. И самая неудачная.

А под конец зимовки природа сыграла с припаем злую шутку. Тридцатикилометровый припай дышал, лёд расходился, чернел разводьями. А на берег нужно перевезти тысячу тонн груза! Будь Синицын аэрологом или геофизиком, спал бы себе спокойно и ждал, пока не поднимут на вахту. Но начальник транспортного отряда отвечает в разгрузку за все: за работу на льду, за людей, за погоду. И с него спросили — строгаи рубанком по живому телу. Почему не определил трассу раньше? Почему тракторы глохнут? Почему, почему?.. А потому! Будто не он ещё до прихода «Оби» и «Визе» проводил дни и ночи на припае! Будто не его трактор провалился в трещину и не он, Синицын, чудом остался в живых! Попробуй определи трассу, если даже учёные-гидрологи не понимают, как это в декабре, когда припай должен быть бетонным, вдруг ни с того ни с сего начались подвижки льда! А что тракторы глохнут, предупреждал: техника на пределе, пора обновлять парк.

«Молодец, Синицын, — похвалил его тогда Макаров, помешивая в стакане ложечкой. — Язык у тебя подвешен хорошо, оправдался ты исключительно умело. Только зачем ты пошёл в Антарктиду, Синицын? В тебе погиб великий адвокат. Плевако!»

И с лёгкой руки начальника экспедиции к Синицыну так и прилипло это прозвище.

Вот и засни... Чуть ли не месяц со своим сменщиком Гавриловым он искал трассу, а «Обь» все это время стояла, и капитан Томпсон, невозмутимый эстонец, холодно напоминал, что каждый день простоя обходится государству в пять тысяч и что поломанный график ставит под угрозу снабжение не только Мирного, но и остальных станций. Наконец трассу нашли. Страшная это была трасса... Восемь покрытых ненадёжными мостами многометровых трещин, десятки снежниц, в которые тракторы погружались по брюхо... Да ещё пурга, туманы... Коля Рощин не уберёгся, не успел соскочить на лёд. Правда, в этой трагедии ни Синицына, ни Гаврилова никто не винил, все видели, что Коля самовольно срезал угол и пошёл в стороне от трассы... Вчера утром Синицын брился, увидел сизый клочок — память об этой трассе...

Последние недели он почти не спал. Так, забывался сном на два-три часа, потом вставал, накачивался крепчайшим кофе и снова на припай. Что ж, он сделал всё, что мог, и даже больше. И посему имеет право спать сколько влезет. «Чем больше спишь, тем ближе к дому», — вспомнил он изречение своего соседа. С Женькой ему повезло. Врач-хирург был весельчак и любимец Мирного, с ним легко и просто...

Ныло похудевшее тело, которое ещё долго не отпустит от себя усталости, молил о покое мозг, а нелепо нарушенный сон так и не приходил. «Хорошо спят беззаботные и счастливые, а я как раз и есть такой, — уговаривал себя Синицын, — беззаботный и

счастливый, потому что все кошмары зимовки и разгрузки позади, и я возвращаюсь домой. А Даша хоть и начала отцветать, как положено от природы, но любить умеет по-молодому... Полтора месяца... Долго!»

И тут Синицын с ужасающей ясностью ощутил, что увиливает от самого главного. И увиливает напрасно, потому что это самое главное засело в мозгу, как стальная заноза. Если эту занозу не вытащить, полного счастья не будет. И виной тому Гаврилов.

Достаточно было дать себе в этом отчёт, как все стало на своё место. Упрёки Томпсона Синицын пропускал мимо ушей: капитан — опытный морской волк, здесь ему не повезло, там повезёт, нагонит, войдёт в график. Макаров? Неприятно, конечно, что пошлёт вдогонку «телегу», замарает характеристику, но и этого Синицын не боялся: такому инженеру-механику, как он, найти стоящую работу нетрудно. Только узнают, что в Москву вернулся, тут же начнут телефон обрывать. К тому же с Антарктидой кончено, своё он отзимовал.

Гаврилов — вот кто не давал Синицыну покоя.

Память, не подвластная воле человека, сделала с Синицыным то, чего он боялся больше всего, — перебрала его в 1942 год.

Он стоял на часах у штаба, когда комбат, сибиряк с громовым басом, отдавал приказ командирам рот. И Синицын слышал, что батальон уходит, оставляя на высоте один взвод. Этот взвод должен сражаться до последнего патрона, но задержать фашистов хотя бы на три часа. Его, Синицына, взвод, второй взвод первой роты! И тогда с ним, безусым мальчишкой, случился солнечный удар. Жара стояла страшная, такие случаи бывали, и пострадавшего, облив водой, увезли на повозке. Потом по дивизии объявляли приказ генерала и салютовали павшим героям, больше суток отбивавшим атаки фашистов. И тут командир роты увидел рядового Синицына.

— Ты жив?!

Синицын сбивчиво объяснил, что у него был солнечный удар и поэтому...

— Поня-ятно, — протянул комроты и посмотрел на Синицына.

Никогда не забыть ему этого взгляда! С боями дошёл до Берлина, честно заслужил два ордена, смысл никем не доказанную и никому не известную вину кровью, но этот взгляд долго преследовал его по ночам.

А теперь ещё и Гаврилов.

Синицын его не любил. Было во всем облике, в поведении Гаврилова что-то вызывающее, раздражающее. Огромного роста, шумный, с вечно свисавшим на лоб всклокоченным чубом, Гаврилов повсюду, где он ни оказывался, вносил беспокойство. Он мог нагрубить самому высокому начальству, бешено хлопнуть дверью, и ему все это сходило с рук. Однажды он трахнул кулачищем по столу капитана, да так, что треснула полированная доска, а Томпсон, которого моряки втихомолку называли «старым пиратом», лишь ухмыльнулся, налил две стопки и выпил с Гавриловым на брудершафт. Все прощалось ему за размах и ярость, с которой он набрасывался на работу.

В прошлом Гаврилов дважды был сменщиком Синицына на посту начальника транспортного отряда. Но тогда дело обстояло по-иному. Синицын возвращался из похода на Восток, похода, который списывал все. Гаврилов, конечно, крыл Синицына за покалеченную технику, но дружелюбно. Грех изничтожать человека, прошедшего три тысячи километров самой трудной на земле дороги. Походников полярники уважали, походник имел право на льготы, как разведчик, вернувшийся из опасного рейда по вражескому тылу.

Но в эту зимовку Синицына преследовали неудачи: два тягача вышли из строя, ещё для двух других не оказалось запасных частей, и при таких условиях о своевременном походе на Восток не могло быть и речи. Причины вроде были уважительные, за несостоявшийся доход Синицына никто вслух не обвинял, но от этого он не чувствовал себя лучше. Сам-то он знал, и его механики-водители знали, что в начале зимовки положение можно было исправить. Ещё летали самолёты, а в Молодёжной имелись запасные части. Да и ребята из механической мастерской, золотые руки, не раз предлагали заняться брошенными тягачами. С одного снять коленчатый вал, с другого главный фрикцион — смотришь, ещё одна машина

одета и обута. Не сделали, прохлопали, упустили время.

На Восток следует отправляться полярным летом, в начале декабря, чтобы вернуться в Мирный до мартовских холодов. Перед новым годом «Обь» приходила в Мирный с новой сменой, разгружалась и шла в Австралию за овощами и мясом. В двадцатых числах февраля возвращались с Востока походники, и примерно к этому же времени возвращалась из Австралии «Обь». Она-то и увозила походников на Родину.

Так было всегда. Теперь из этой привычной цепи выпало одно звено. Отряд Сеницына уже не мог пойти на Восток: «Обь» не успеет забрать походников, а зимовать два года подряд в Антарктиде никому не разрешается. Значит, отряду Гаврилова придётся идти в поход по маршруту Мирный — Восток — Мирный дважды: прямо сейчас, в конце января, и потом — в декабре.

Но это ещё полбеда. Хуже то, что Гаврилов пойдёт на Восток на полтора месяца позже, чем обычно. Значит, и возвращаться он будет тогда, когда по Центральной Антарктиде уже не ходит никто.

Сеницын ждал, что Гаврилов будет размахивать кулачищами, крыть его последними словами. Но Гаврилов, вникнув в ситуацию, повёл себя чрезвычайно спокойно. Не ругался, не дёргал себя за чуб, не хлопал дверью — ничего подобного не было. Он только улыбнулся нехорошей улыбкой, подмигнул и тихо сказал:

— Сработаем. Плыви спокойно домой... Плевако!

И его водители, которых Гаврилов брал с собой из года в год, обидно засмеялись. Как в душу плюнул!

И ещё...

На «Оби» прибыло два новых тягача. Их следовало переправить в Мирный, переправить во что бы то ни стало, без них нечего было и думать о походе. А проклятый припай еле выдерживал тяжесть и лёгких тракторов.

Кому-то нужно было гнать тягачи на берег.

Никто не говорил о них ни слова, но в этом молчании Сеницын слышал вопрос. Он не подготовил технику, сорвал поход и не нашёл вовремя трассу. Поэтому первый тягач перегонять ему — так молчаливо решило общественное мнение.

Но Сеницын не хотел погибать. Он понимал, что это значит — гнать двадцатипятитонный тягач по припаю! Рискнуть в начале зимовки — на это он бы, наверное, пошёл, но идти на смертельный риск сейчас, за миг до возвращения домой...

И Сеницын боялся смотреть на тягачи, как приговорённый к смертной казни боится смотреть на виселицу.

Первый тягач перегнал Гаврилов. Улучив момент, когда начальства не было на борту (чутко поступил, чтобы не мучилось начальство угрызениями совести!), спустил тягач на лёд, похлопал машину по могучим бокам, потом залез в кабину и запустил мотор, высунулся из неё, заорал: «Счастливого оставаться!» — и на третьей передаче рванул по трассе. Проскочил. А за ним — второй тягач, по колее.

За ужином в кают-компании Макаров долго ругал Гаврилова за самоуправство, но тот отмахивался, довольно урчал и ел за троих. На Сеницына он только раз взглянул и отвернулся. И вообще больше к нему не подходил, ни разу не обращался, словно бывшего начальника транспортного отряда уже не было в Мирном.

Вот почему Сеницын долго не мог заснуть.

Ему мерещился Гаврилов и его взгляд, тяжёлый взгляд командира первой роты летом сорок второго года. И никакими усилиями воли Сеницын не мог прогнать от себя эти видения.

Когда он после войны вернулся домой с двумя боевыми орденами и не менее почётным, чем третий орден, шрамом во всю щеку, его, юного победителя, провожали по улице горящие глаза мальчишек, им гордился отец-учитель. Однажды он привёл сына в школу, в которой Сеницын когда-то учился, и представил его классу. И один восторженный мальчик, приветствуя героя от имени класса, воскликнул: «Дорогой товарищ гвардии

сержант! Мы вам очень завидуем! Вы на всю жизнь счастливы, потому что у вас чистая совесть!»

Это было немножко смешно, но в общем справедливо. Тогда Сеницын воспринял этот детский восторг как должное. Но с годами память, холодная и беспощадная, то и дело стала напоминать о том, о чём очень хотелось забыть навсегда. По ночам на Сеницына напоздали танки, в рукопашной в него вонзали кинжалы, его убивали, и он убивал. Он кричал во сне, и Даша ласково гладила его по лицу, успокаивая.

А когда он видел командира роты и товарищей, погибших на высоте, то просыпался без крика, но больше заснуть не мог.

А теперь ещё и Гаврилов.

И вдруг у Сеницына появилось смутное ощущение, что с Гавриловым связан ещё какой-то очень неприятный эпизод. Он снова поднялся, подошёл к окну и больными глазами уставился на однообразный и надоевший полярный пейзаж. Айсберги, льды, серое, промозглое небо... Что-то было ещё, что-то было... Вспомнил!

Перед самым уходом «Визе» к нему подошёл Гаврилов и, явно пересиливая себя, неприязненно буркнул: «Топливо подготовлено?»

Сеницын, измученный бессонницей, падающий с ног от усталости, утвердительно кивнул. И Гаврилов ушёл не попрощавшись, словно жалея, что задал лишний и ненужный вопрос. Ибо само собой разумелось, что ни один начальник транспортного отряда не покинет Мирный, не подготовив своему сменщику зимнего топлива и техники. Ну, не было в истории экспедиций такого случая и не могло быть! Поэтому в заданном Гавриловым вопросе любой на месте Сеницына услышал бы хорошо рассчитанную бестактность, желание обидеть и даже оскорбить недоверием.

Сеницын точно помнил, что кивнул он утвердительно.

Но ведь зимнее топливо как следует он подготовить не успел! То есть подготовил, конечно, но для своего похода, который должен был состояться полярным летом. А Гаврилов пойдёт не летом, а в мартовские морозы, и поэтому для его похода топливо следовало готовить особо. И работа чепуховая: добавить в цистерны с соляром нужную дозу керосина, побольше обычного, тогда никакой мороз не Возьмёт. Как он мог запомнить!

Сеницын чертыхнулся. Нужно немедленно бежать в радиорубку, узнать, вышел ли Гаврилов в поход. Если не вышел, сказать правду: извини, оплошал, забыл про топливо, добавь в соляр керосина. Если же Гаврилов в походе, поднять тревогу, вернуть поезд в Мирный, даже ценой потери нескольких дней, чтобы разбавить солярку.

Сеницын начал одеваться, сочиняя в уме текст радиogramмы, и остановился. Стоит ли поднимать панику, на скандал, проработку напрашиваться? Ну какие будут на трассе морозы? Градусов под шестьдесят, не больше, для таких температур и его солярка вполне сгодится.

Успокоив себя этой мыслью, Сеницын снял с кронштейна графин с водой, протянул руку за стаканом и нащупал на столе коробочку. В полутьме прочитал: «люминал». И у Женьки нервишки на взводе... Сунул в рот две таблетки, запил водой, лёг и забылся тяжёлым сном.

Через три часа санно-гусеничный поезд Гаврилова ушёл из Мирного на Восток.

ГАВРИЛОВ

Хотя смерть Гаврилов видел много раз, по-настоящему в своей жизни он умирал дважды.

Впервые это случилось, когда ему было шесть лет и он заболел менингитом. Он метался в жару, ничего не сознавал и не слышал, как в разговоре отца и доктора решалась его судьба. Доктор, прискакавший верхом из далёкой сельской больницы, предлагал сделать пункцию. Тогда мальчишка, быть может, останется жить, хотя за его умственные способности доктор ручаться не станет. А если не сделать пункцию, то почти наверняка

умрёт.

Как потом узнал Гаврилов, отец сказал: «Пусть помирает. Не простит мне сын, если останется калекой».

Доктор развёл руками и усккал: ему каждый день нужно было кого-то спасать. А месяца через полтора он поехал навестить лесника. Думал, что сейчас, за поворотом, увидит небольшой свежий холмик, но увидел не холмик, а мальчишку, который из бутылочки поил молоком медвежонка.

Поговорив с мальчишкой о том о сём, доктор сказал леснику:

— Жить твоему пацану, Тимофей, до ста лет.

— Его забота, — сказал лесник.

— Один шанс из тысячи был у него.

— Мой Ванька своего не упустит, — согласился лесник.

Так Гаврилов выжил в первый раз.

А лет через двадцать его расстреляли немцы. Когда кончились боеприпасы, Гаврилов выполз из нижнего люка разбитого танка и стал отстреливаться из пистолета. Приберегал для себя последнюю пулю, но всадил его в набегающего фашиста. Потом отбивался кулаками. Схватили. Избитый, с вывихнутой рукой валялся в лагере на сырой земле, а когда колонну повели через лес, прыгнул в кусты. Поймали, привели назад и для острастки остальных пленных расстреляли на их глазах из автомата. Сердобольные старушки из деревни потащили его хоронить, а он застонал. Выходил Гаврилова старик фельдшер в партизанском отряде, заштопал три дырки в груди. А потом отправили на «кукурузнике» в Москву, в госпиталь.

Излечившись, он удачно провоевал ещё целых два года. Сменил в боях несколько «тридцатьчетверок», но всякий раз оставался жив и здоров: ни пуля, ни осколок не могли найти его огромного, налитого стальными мускулами тела.

Закончил Гаврилов войну гвардии капитаном, демобилизовался и начал мирную жизнь.

Но в этой мирной жизни очень мешал Гаврилову его характер. В войну он тоже мешал, но комбриг любил строптивого комбата и спускал ему немалые грехи за редкую храбрость и умение воевать. Даже нашумевшую историю с Кокоревым, начальником военторга корпуса, и ту генералу удалось замять.

Случилось, что два дня бригада страдала без курева, даже проклинаемый всеми фронтовиками филичевый табак и тот кончился. А военторговская машина с куревом, как стало известно, проскочила не той дорогой и намертво застряла в болоте. В это время в бригаду прибыл Кокорев и, на свою беду, натолкнулся на Гаврилова. Прояви себя начальник военторга дипломатом, и не было бы никакого скандала. Но на вопрос Гаврилова, когда снабженцы думают вытаскивать машину, Кокорев грубо посоветовал капитану обратиться по инстанции. Гаврилов побагровел и засопел — верный признак надвигающейся бури. Здесь бы Кокореву повернуться и уйти с честью, но он плохо знал, с кем имеет дело, и опрометчиво добавил: «Когда надо будет, тогда и вытащим, понятно?» Гаврилов вскипел, с помощью экипажа силой усадил Кокорева в танк и повёз по лесным просёлкам выручать военторговскую машину. Выручили. По дороге наскочили на засаду, ввязались в перестрелку, но благополучно выбрались, привезя с собой похудевшего от пережитых волнений пассажира.

— В следующий раз будешь знать, что танкисты окурков не подбирают! — вытаскивая бедолагу из люка, гремел Гаврилов.

Командир корпуса, к которому Кокорев побежал с жалобой, сначала хотел сурово наказать Гаврилова за самоуправство, но, будучи человеком, не лишённым чувства юмора, в конце концов ограничился полумерой: задержал представление Гаврилова к ордену...

Были у Гаврилова и другие проступки, но все ему сходило с рук, потому что никто другой так лихо не проводил разведку боем. Любил генерал своего комбата и любовь свою выражал тем, что первым посылал его в самый огонь — этот любую смерть обманет!

Возвратившись на родной Алтай, Гаврилов стал директором МТС. Не хватало запасных

частей — съездил в свою танковую бригаду, добыл правдами и неправдами. Некому было работать на тракторах и машинах — выписал к себе ребят-танкистов, пережил их на истосковавшихся колхозных девушках и построил молодожёнам дома. Соседи вокруг шутили, что из своей МТС Гаврилов сделал воинскую часть, но в глубине души завидовали независимому в прочном положении бывшего комбата. Уже пошли разговоры о том, что вот-вот заберут Гаврилова на повышение, в область, когда один случай все поломал.

Как-то приехал в МТС местного масштаба начальник, большой любитель охоты. Стояла распутица, и он, жалея новенькую служебную машину, попросил у Гаврилова «газик»: до озера, богатого дичью, было километров сорок. Гаврилов, с утра до ночи носившийся на этом «газике» по полям, не только наотрез отказал, но и наговорил начальнику много больше, чем, может быть, следовало. Начальник отшутился: сообразил, верно, что не сейчас нужно копыя ломать, но унижения своего не забыл. А вскоре в МТС начали наезжать комиссия за комиссией...

Разругавшись, Гаврилов уехал на Север. Работал в леспромхозе, возил хлысты, ремонтировал тракторы и тосковал по настоящему делу. И вот однажды в Котласе встретил на улице своего комбрига, приехавшего навестить семью погибшего на фронте брата. Посидели, поговорили. А через месяц Гаврилов получил письмо. Генерал писал, что его друг, директор полярного института, ждёт Гаврилова и намерен предложить ему то самое, настоящее дело.

Так Гаврилов стал полярником: зимовал на далёких станциях, дрейфовал на льдинах. Полюбил эту жизнь, хотя она и не баловала его. Как когда-то на фронте, здесь тоже ценили мужество и силу, а постоянная опасность цементировала дружбу людей, нуждавшихся друг в друге, как нуждаются в этом идущие в бой солдаты. Когда лопалась льдина или на лагерь шли торосы, Гаврилов сутками не спал, перетаскивая домики, спасая оборудование или расчищая взлётно-посадочную полосу. Дизелист и механик-водитель, который работает за двоих да ещё и равнодушен к спиртному, — таких на Севере уважают. И получилось, что не только Гаврилов нашёл себе дело, но и дело нашло его.

А вот жениться ему никак не удавалось, старики так и не дождались внука. Возвращаясь на материк, Гаврилов не раз пытался найти подругу по душе, но как-то неудачно. Жених он был завидный, с положением и деньгами, почти любая из одиноких женщин, которых после войны было немало, охотно вышла бы за него. И не то чтобы он был слишком привередлив или чрезмерно ценил себя, но не встречалась ему такая женщина, которую он смог бы полюбить. А без любви Гаврилов жены не хотел. В зимовку завидовал товарищам, мечтавшим о встречах с жёнами и детьми, давал себе слово, что на этот раз бросит на материке якорь, а возвращался, и все шло по-старому. Приближался к сорока годам Гаврилов, старели женщины, так и не дождавшись от него предложения, а он вновь уходил на зимовку, откуда некому было писать и где не от кого было ему ждать писем и радиogramм.

Однажды, возвращаясь после рейса домой, застрял из-за пурги в Архангельске. И вот давным-давно пурга улеглась, товарищи улетели на материк, а Гаврилов все жил в гостинице, коротая дни и дожидаясь вечеров, чтобы проводить домой медсестру Екатерину Петровну. Полюбил её Гаврилов всем сердцем, с первого взгляда, как бывает только в книгах.

Ей было около тридцати, и у неё имелся соломенный муж, лётчик, навещавший её несколько раз в году, когда летал по этой трассе. Подруги жалели сестричку, но поскольку она была хороша собой и горда, жалость эта была не очень искренняя, что вполне согласуется с природой женщин, особенно подруг. Благоклонности Екатерины Петровны добивались многие, однако повода сплетням она не давала и отваживала ухажёров корректно, но решительно.

С Гавриловым дело обстояло по-иному. Безошибочная интуиция подсказывала Екатерине Петровне, что этот огромный и вспыльчивый человек, который немеет при её появлении, добивается от неё не милости на день, а неизмеримо большего. Про себя она

назначила Гаврилову испытательный срок, один месяц — только до порога, а потом, поверив, сдалась. Гаврилов совсем потерялся от счастья, две недели любви стали для него высшей наградой, за всю его жизнь. А потом она сказала; «Знаешь, Ваня, обнимаю тебя, а думаю о нем. Уходи, Ваня, прости меня».

Гаврилов молча ушёл и с первым же рейсом улетел искать его. Нашёл в лётной гостинице Хатанги. Посмотрел на него Гаврилов и честно признался самому себе, что сравнение не в его пользу. Лётчик был высок, мужествен и красив. «С такой физиономией в кино сниматься», хмуро подумал Гаврилов, сознавая, что по сравнению с ним сам он выглядит как глыба неотёсанного гранита.

Гаврилов не любил таких людей, каковым, по его мнению, все в жизни даётся без труда: и успех у женщин и всякая другая удача. А к этому человеку он испытывал, особую неприязнь. Если бы лётчик любил Екатерину Петровну, Гаврилов, наверное, простил бы ему и красивое лицо, и превосходно сшитую форму, и даже откровенный взгляд, каким тот ощущал явно равнодушную к нему официантку. Но лётчик пренебрёг женщиной, которую Гаврилов боготворил, и потому был в его глазах олицетворением всех пороков.

Разговора не получилось. Узнав, чего хочет от него этот увалень, лётчик засмеялся и позвал товарищей.

— Ещё один претендент на Катину руку! — поведал он. Засмеялись и товарищи. — Ставь бутылку коньяку и бери. А нет денег, дарю мою Катюшу бесплатно! Только чур: как прилечу в Архангельск, выкатывайся из дому. Идёт?

Гаврилов не сдержался, изо всей силы ударил кулаком по красивой роже. К счастью, лётчик успел чуть отклониться, но всё равно с пола он поднялся лишь с помощью товарищей. И — удивительное дело! — проснулась в человеке совесть. Сказал, что сам виноват и претензий к Гаврилову не предъявляет, но надеется в будущем с ним рассчитаться. На том и расстались.

Дома Гаврилов пробыл не долго: тосковал и не находил себе места, пока не уехал водителем в антарктическую экспедицию. Трудный поход потребовал такого напряжения сил, что травма, казалось, прошла сама собой. Но когда «Обь» пришвартовалась к причалу Васильевского острова, Гаврилов с трудом заставил себя занести домой вещи: непреодолимая сила тянула его в Архангельск. Переоделся, поймал такси, поехал в аэропорт и через несколько часов был на тихой архангельской улице. Постучался, вошёл. Екатерина Петровна, бледная и неузнаваемо похудевшая, кормила из ложечки годовалого мальчика. Посмотрел на него Гаврилов, и сердце его перевернулось: сын... Обнял безмолвную Катю, поцеловал заревевшего мальчишку и в тот же день увёз их в Ленинград.

И с того дня не было человека счастливее его. Он жил ради Кати и сыновей, которых за десять лет у него стало трое, и, думая о них в разлуке, боялся верить своему счастью.

Ради них стал осторожнее и мудрее, берег себя и не лез на зряшный риск. В походах не снимал связанного Катей свитера, а к ночи, ложась спать, вынимал из планшета фотокарточку, на которой была его семья, и на сердце у него теплело.

Так и прожил пятьдесят лет Гаврилов, бывший комбат, а ныне «старый полярный волчара», как называли его друзья. Много раз дрейфовал, исколесил вдоль и поперёк Антарктиду, повидал столько, что хватило бы и на несколько жизней.

Дважды его хоронили — выжил, в танках горел — не сгорел, в разводьях тонул — не утонул, в трещины падал — выкарабкивался. И во всех испытаниях не покидала его вера в свою счастливую звезду. Ничего в жизни не давалось ему сразу, за каждую удачу платил он потом и кровью, но если бы можно было снова пройти этот путь, то снова прошёл бы его без сомнений и колебаний, не сворачивая ни на вершок. И только за последний поход винил себя Гаврилов. Упрекал, терзал себя за то, что недосмотрел, поверил на слово — кому поверил! — и обрёк, быть может, на смерть девять преданных ему ребят.

И память возвращала его к тому роковому решению.

СВОБОДА ВЫБОРА

Пятый раз шёл на станцию Восток Гаврилов, но никогда не приходил так поздно — в конце февраля.

На Востоке было холодно, но пока не очень, градусов пятьдесят пять. Считалось, что это даже тепло — настоящие морозы начинаются в апреле — мае, тогда здесь бывает минус восемьдесят, а то и под девяносто. Восемьдесят восемь, во всяком случае, термометр в августе как-то показывал.

Бесценная для науки станция — полюс холода, геомагнитный полюс Земли. Жемчужина Антарктиды! Вот и ходят сюда поезда. Трудный, дорогостоящий поход, но без него никак не обеспечишь станцию топливом. А топливо — это тепло, которое Востоку нужнее, чем любому другому жилью на свете. Не хватит топлива, остановится дизельная, и через тридцать-сорок минут станция погибнет. Так что каждый санно-гусеничный поезд дарит станции год жизни. Если же поезд почему-либо не придёт, люди, как птицы, улетят отсюда к теплу. Один раз, в Седьмую экспедицию, так уже случилось, и Восток на год осиротел. Многого недополучила наука за тот потерянный год.

Поэтому нет большего праздника для восточников, чем приход поезда. Но ни разу не встречали дорогих гостей в самом конце полярного лета, когда столбик термометра с каждым днём неумолимо падал вниз. Во все предыдущие экспедиции поезд в это время уже приходил обратно в Мирный. А теперь возвращаться придётся весь март, а то и половину апреля, по ледяному куполу, скованному лютым холодом.

И радость восточников была омрачена тревогой.

Но её старались не показывать, потому что походникам нужно было хорошо отдохнуть. Они пять недель вели перегруженный поезд. Особенно тяжело дался крутой подъем, начинающийся километрах в тридцати от Мирного. Чтобы вытащить навверх многотонный груз, в одни сани приходилось запрягать по два тягача. Потом тягачи возвращались обратно за другими санями, и так несколько раз — челночная операция, проклинаемая полярниками всех экспедиций. А двухметровые заструги у Пионерской, в которых тягачи застревают, как в противотанковых надолбах? Всю душу вытрясли из механиков-водителей эти заструги. Хлебнули горя и в зоне сыпучего, как песок, снега, где тягачам приходилось вытаскивать друг друга на буксире. А купол становился все выше, у Комсомольской он уже достиг высоты трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Правда, от горной болезни походники не очень страдали, сказывалась постепенность подъёма, благодаря чему организм понемногу привыкал к нехватке кислорода.

К Востоку пришли измотанные, грязные, исхудавшие и несколько дней отдыхали. Отмылись в бане, посмотрели по традиции лучшие фильмы и беззаботно отоспались.

Но всё равно настоящего праздника не получилось. Оттого, что о проблеме стараются не говорить, она не исчезает. И все замерли в ожидании. Кому-то предстояло взять на себя ответственность, кто-то должен был сказать первое слово. Решалась судьба станции Восток, быть ей или не быть на следующий год.

Взаперти беседовали о чём-то начальник станции Семёнов и Гаврилов, по углам шушукались походники, но за столом в кают-компании говорили о чём угодно, только не о возвращении.

Первый шаг сделал начальник экспедиции Макаров. Он прислал Гаврилову радиogramму, в которой предлагал экипажу поезда оставить технику на Востоке и вылетать в Мирный. Предлагал, а не приказывал!

Макаров не хотел рисковать людьми, но он-то хорошо понимал, что если тягачи застрянут на Востоке, станция через год останется без топлива и её придётся законсервировать. Поэтому начальник экспедиции и не приказывал, а только предлагал.

Этот оттенок, незначительный на первый взгляд, многое решал. Ослушавшись, Гаврилов совершал, конечно, проступок, но не такой уж серьёзный. Вот если бы он нарушил приказ — другое дело. А в слове «предлагаю» была какая-то необязательность, в нём оставалось место для субъективного истолкования. Макаров как бы развязывал Гаврилову

руки и давал ему возможность принять любое из двух решений. Времени на размышления оставалось немного.

Полет на Восток длится шесть часов. Четыре часа назад два «ИЛа» вылетели из Мирного с последним рейсом. Через два часа они будут здесь. Сорок минут уйдёт на разгрузку самолётов, а потом они возвратятся обратно, и лётчики тут же перейдут на «Обь». Капитан Томпсон и так рвёт и мечет из-за того, что лётчики затянули полёты на Восток.

Значит, в распоряжении Гаврилова имелось два часа сорок минут.

Думал Гаврилов недолго. В критических ситуациях он привык полагаться на интуицию, которая обычно его не подводила. Он считал, что чем больше в таких случаях думаешь, тем больше находишь доводов против риска, а потому нужно действовать, как подсказывает тебе шестое чувство.

На фронте Гаврилова не раз обвиняли в том, что он лезет в драку очертя голову. Но как-то так получалось, что именно крайне дерзкие его поступки и приносили успех бригаде. Однажды Гаврилов бросил в атаку свой батальон по ещё не замёрзшему болоту, утопил один танк, но зато с остальными буквально растерзал незащищённый фланг ошеломлённых фашистов. В другой раз в ходе разведки боем Гаврилов углубился по просёлку километров на тридцать в немецкий тыл, натолкнулся на аэродром и расстрелял из пушек восемь готовых к вылету «юнкерсов». И Гаврилов привык, что «случай» работал на него. Привыкли к этому и люди, с которыми он был связан, как привыкли они и к тому, что самое опасное дело всегда поручали именно ему.

Но на этот раз Гаврилов размышлял недолго отнюдь не потому, что опасался отыскать убедительные аргументы против обратного похода: аргументов этих было хоть отбавляй, и главный из них — неизвестность. Никто не ходил в поход по ледяному куполу в это время года, и никакой человеческий опыт не мог подсказать Гаврилову, как поведёт себя техника в условиях крайне низких температур. И не потому размышлял недолго, что слепо верил в свою счастливую звезду и всегдашнюю удачу. С возрастом инстинкт самосохранения одёргивает человека куда чаще, чем в зелёной юности, и Гаврилов в этом смысле не был исключением. Просто он видел с самого начала не два, а лишь один выход из положения: нужно доставить тягачи обратно в Мирный.

Гаврилов знал, что его никто не осудит, если он и его ребята возвратятся по воздуху. В конце концов, не они виноваты, что поезд вышел в поход слишком поздно. Оставив тягачи на Востоке, они поступили бы в соответствии с предложением начальника экспедиции, сделанным им из самых гуманных побуждений. Никто не осудит и Макарова, поскольку он, возможно, предотвратил гибель людей. Так что никто не пострадает, и все окажутся правы.

Но станция Восток через год будет законсервирована!

Это Гаврилов, тоже знал, и знал точно. И представлял себе, как за его спиной полярники будут говорить: «Самолётом, конечно, спокойнее... Сдал старик. Был бы на его месте парень посмелее, не остались бы без Востока!» И эти люди убудут по-своему правы, потому что в конечном счёте оцениваются только результаты. Это, быть может, жестоко, но справедливо.

Вот почему для себя Гаврилов видел лишь один выход из положения. Для себя, но не для своих ребят! У них должна быть свобода выбора, как у добровольцев, когда предстоит опасное дело. На фронте Гаврилов иногда так и поступал: излагал обстановку, ничего не скрывая, и предлагал тем, кто хочет идти в разведку, разделить его участь, сделать шаг вперёд.

Есть на станции Восток крохотный холл, где стоят два снятых с самолёта кресла и круглый стол, за которым восточники любят поговорить о жизни, выпить чашку чая и забить «козла». Здесь Гаврилов собрал своих ребят, минут за десять рассказал им о своём плане и закончил:

— Ну, если есть вопросы, говорите, если нет — кто за, кто против?

— Так дело не пойдёт, батя... — возразил механик-водитель Игнат Мазур. Что мы, председателя месткома выбираем? Давай по-честному: или все летим, или все ползём.

Голосуй в целом.

— Правильно, — поддержал Игната врач-хирург Алексей Антонов. — Сейчас у нас полный комплект. Если несколько человек улетят, как доведём поезд?

— Помёрзнем, батя, — проговорил штурман Сергей Попов. — Самолётов не будет, никто не выручит...

— Я за предложение брата, — высказался механик-водитель Давид Мазур. Если, допустим, я полечу, а Тошка пойдёт и останется на трассе? Как я буду людям в глаза смотреть?

— Бр-р-р! — строя рожи, начал паясничать Тошка Жмуркин, совсем юный стажёр. — Не хочу оставаться на трассе, хочу к теще на именины!

— Цыц! — оборвал его Гаврилов, и Тошка обиженно притих. — Дело пахнет порохом, и пусть каждый решает за себя, потому что...

— ...своя шкура ближе к телу, — пискнул неугомонный Тошка и тут же завертел головой в знак того, что больше не будет.

— Не такое это дело, чтобы давить на меньшинство, сказал Гаврилов. — Каждый должен решать сам.

И вышел, чтобы не давить.

Возвращаться самолётом решили трое: механик-водитель Василий Сомов, штурман поезда Сергей Попов и повар Петя Задирако. Это, конечно, создавало большие трудности, но не срывало похода, потому что камбуз брал на себя доктор, тягач Сомова — Тошка, а штурмана мог заменить сам Гаврилов.

При общем молчании Сомов, Попов и Задирако пошли в балки за своими вещами.

Послышался гул моторов: с небольшим интервалом на полосу один за другим сели два «ИЛ-14».

К Гаврилову подошёл Семёнов, начальник Востока и старый друг.

— Все судьбу испытываешь, Ваня? — сказал он.

— Курева дашь? — спросил Гаврилов. — Пачек бы сто «Шипки» пополам с «Беломором».

— Последние рейсы, Ваня!

— И банок десять джема, — добавил Гаврилов. — Ну а ежели ещё и сколько не жалко «Столичной», повешу в балке твой портрет и на ночь буду молиться, как на икону.

Семёнов махнул рукой и отправился на полосу. Тяжело полярникам береговых станций провожать последний корабль, но во сто крат тяжелее восточникам, когда взмывают в воздух последние в нынешнем году самолёты. Теперь, что бы ни случилось, шестнадцать восточников девять долгих месяцев будут рассчитывать только на самих себя, беречь живительное тепло дизельной и жаться друг к другу, чтобы сохранить коллектив. Привыкнуть к такому полному отрыву от всего мира нельзя, как нельзя привыкнуть к кислородному голоданию, к чудовищным холодам в полярную ночь и к мысли о том, что, случись беда, и Востоку не сможет помочь никто.

Грустно восточникам провожать последние самолёты!

«Вот и все, — подумал Гаврилов, когда самолёты поднялись в воздух. — Все пути отрезаны. Теперь осталась одна дорога в Мирный — санно-гусеничная колея». И пошёл к тягачам, у которых хлопотали водители. Среди них увидел Сомова. Ничего не сказал, заглянул в камбузный балок. Так и есть, Задирако пересчитывает ящики с полуфабрикатами.

Потеплело у Гаврилова на душе: остались, поверили в своего батю, как они его называли. Один только Попов улетел. «Спасибо, сынки, никогда не забуду, умирать буду — вспомню добрым словом». И молчаливая горечь, терзавшая Гаврилова с того момента, когда трое решили улететь, сменилась тихой радостью. «Теперь все будет хорошо, теперь дойдём».

Потом был прощальный обед. Не торопясь посидели в кают-компании за роскошным столом — Семёнов ничего не пожалел, выставил лучшее; выпили немного, немного потому, что на Востоке к алкоголю не очень-то тянет, и без того дышать нечем. Как всегда, сфотографировались на прощание у тягачей, обнялись и расцеловались, не стыдясь слез, —

всё равно не видны: и ресницы и бороды покрыты инеем. И пошли походники домой, в Мирный, под ракетные залпы.

Только через пять суток, когда морозы перевалили за шестьдесят, Гаврилов узнал, как подвёл его Синицын.

ЗАГУСТЕВШАЯ КРОВЬ

В этом походе все было наоборот; двигался поезд ночью, а под утро останавливался, и люди отдыхали. Делалось так потому, что ночью морозы сильнее и заводить машины лучше было днём, когда температура на несколько градусов выше. Впрочем, к Центральной Антарктиде уже подходила полярная ночь, солнце покидало материк на долгих полгода, и разница между временами суток становилась все менее заметной. К тому же если на Большой земле люди не очень любят работать в ночную смену, то походникам это безразлично. Все равно до жены, детей, телевизора и стадиона около двадцати тысяч километров, а раз так, то какая разница, когда работать и когда отдыхать. И поезд шёл ночью. Впереди была Комсомольская, а там цистерна, и мысли всех десяти человек сосредоточились на ней, на этой цистерне.

Когда первопроходцы пробивались от Мирного к Востоку, по дороге они основывали станции. Так возникли Пионерская, Восток-1 и Комсомольская. И хотя станции эти давным-давно были законсервированы и для жилья не годились, приход на каждую из них для походников означал многое. Что ни говорите, а промежуточный финиш — этап большого пути. Пионерскую уже в незапамятные времена первых экспедиций занесло многометровой толщей снега, на Востоке-1 только вежи стояли, а в полузасыпанный домик на Комсомольской можно было при желании даже зайти и вообразить, как он выглядел, когда люди вдохнули в него жизнь, И заходили, чтобы испытать чувство приобщенности к человечеству: хоть и бывшее, но всё-таки жильё! Не бездушная белая пустыня.

Двигаясь к Востоку, походники Гаврилова на каждой из этих станций оставляли цистерны с горючим и бочки с маслом — для себя же, на обратную дорогу. На Комсомольской тоже была оставлена цистерна. Никуда она деться не могла, разве что пурга, встретив на гладком куполе эту преграду, надела бы на неё белую шубу; никто не мог цистерну ни разбить, ни украсть, ни припрятать, а думали о ней походники с лютым беспокойством. Или, вернее сказать, с надеждой, к которой примешивалась глухая тревога.

Трудно жить человеку, когда нет перспективы. Если даже все у него сложилось хорошо, не дают невзгоды и не угнетают болезни. Так уж устроен человек, что ему обязательно нужно надеяться на лучшее, чем то, что у него есть. А в тяжёлые моменты жизни мечта спасает. Не самообман — бессмысленное утешение слабых, не большая фантазия нищего, который шарит по тротуару глазами в поисках туго набитого бумажника, а мечта, за которую нужно и стоит бороться.

Такой путеводной звездой стала для походников цистерна на Комсомольской.

Неделю назад радист и по совместительству метеоролог Борис Маслов, вытащив из снега термометр, воскликнул: «Шестьдесят два, привет, братва!» Тошка полез на цистерну — их две, по четырнадцать кубов каждая, везла на санях «Харьковчанка» — и отвинтил горловину. Изумлённо всмотрелся в содержимое цистерны и провозгласил:

— Кому киселю? Две копейки черпак!

Шутку не приняли. Механик-водитель относится к своей машине, как к живому организму: двигатель-сердце разгоняет по кровеносным сосудам соль и масло, ведущая звёздочка и катки-суставы вращают гусеничную ленту, которая служит тягачу ногами. Как и живому организму, тягачу необходима каждая деталь. Но главное — это сердце. Если лопаются на гусеничных траках пальцы, летят на маслопроводах дюриты и случаются другие привычные мелкие поломки, водитель только чертыхается. А когда даёт перебои сердце, шутки в сторону.

Люди подошли к цистерне и молча смотрели, как Тошка пытается вылить из черпака

соляр. Он не выливался! Жидкость потеряла текучесть. Густая, похожая на студень масса будто прикипела к черпаку. Топливо перестало быть топливом, кровь загустела!

О таких необычных явлениях рассказывали восточники, которые открыли, что при сверхнизких температурах в ведро с бензином можно опустить горящий факел, и тот погаснет, что соляр можно резать, как мармелад, а железная труба от удара кувалдой разлетается, словно она сделана из фарфора.

Наверное, для науки действительно очень важно и интересно было узнать, как изменяются свойства веществ в практических условиях, приближённых к космическим. Ступенька в познании объективного мира! Но мысли походников, молча смотревших да черпак в руке Тошки, были приземленнее. Они видели, что топливо загустело, и ясно представили себе причину и следствие этого явления.

В дизельном топливе после перегонки остаётся небольшая часть парафина. В летних сортах его больше, в зимних меньше. Для работы двигателя в условиях температур ниже 45° в зимнее топливо добавляется 15-20 процентов керосина. Если же в сильный мороз идти на недостаточно разведённом соляре, то в нём, стоит тягачу остановиться и заглушить двигатель, быстро образуются парафиновые пробки. Эти пробки забивают топливопровод и топливный насос, и солярка, как кровь, закупоренная тромбом, перестаёт обращаться.

Синицын!

«Гад, сволочь и сукин сын! — подумал Гаврилов. Если вернусь, приблю!»

«Если вернусь, — резануло по сердцу. — Попробуй дойди на таком мармеладе...»

Ярость душила Гаврилова. Он рванул подшлемник и вдохнул ртом воздух, один раз, другой. Обжёг лёгкие, задохнулся.

— Батя, надень! — бросился к нему Антонов, но Гаврилов отпихнул его, полез на цистерну, взял у Тошки черпак и повертел им в горловине.

Надвинул подшлемник и спустился вниз. Окинул взглядом напряжённо застывших в полутьме ребят.

— Влипли, как муха в варенье, — хрипло вымолвил Игнат Мазур.

— Ужинать! — приказал Гаврилов, и все пошли на камбуз.

И отныне двигались ночью и мечтали о цистерне, которую они оставили на Комсомольской: а вдруг в ней зимнее топливо? Понимали, что если уж в одной цистерне студень, то и в остальных скорей всего то же, но всё-таки надеялись, заставляли себя верить. А вдруг? Хотели было послать Синицыну на «Визе» радиограмму, спросить, потребовать, чтобы ответил по-честному, но Гаврилов запретил. Сказал, что не стоит унижаться, а сам про себя подумал, что отрицательный ответ лишит ребят надежды и кое-кто может пасть духом. Надежда — тоже топливо, без неё не дойдёшь. Не будет удачи на Комсомольской — можно помечтать о цистерне на Востоке-1, там осечка — верь в цистерну на Пионерской. А оттуда до Мирного меньше четырехсот километров, на святом духе дойдём.

С каждым днём все холодало, и скоро стало семьдесят градусов ниже нуля.

Очередной бросок начинали так. Растапливали в бочке на костре масло, которое стало твёрдым, как битум, и заливали по шесть — восемь вёдер на тягач. Тут же запускали прогреватель, грели антифриз и масло. Антифриз набирал тепло значительно быстрее, и тогда прогрев прекращали, чтобы антифриз отдал избыток тепла маслу. Потом снова начинали и снова прекращали, и так много раз, пока масло не нагревалось до плюс десяти градусов, а антифриз — до плюс восьмидесяти. Одновременно в бочках грели соляр. Как только масляный насос начинал гнать масло в систему, разжижённый соляр перекачивали в топливный бак и запускали двигатель.

Кончали с одним тягачом, переходили к другому. На все это уходило четыре-пять часов, а иногда и больше. Однажды так и не смогли запустить двигатели двух машин и сутки простояли.

Медленно, с надрывом, но шли, километр за километром. Останавливались часто: у одного тягача летели пальцы, у другого дюриты, у третьего лопалась серьга прицепного устройства. Поморозились на холоде, на котором ни один человек до сих пор не работал, ни

один, потому что даже восточники в такие морозы выходят из дому лишь на двадцать — тридцать минут. Но шли: жизнь можно было сохранить только в движении.

Впереди — флагманская «Харьковчанка» с двумя цистернами на санях, самая большая и мощная машина в Антарктиде. Высоко над ней развевался красный флаг. За рычагами сидел Игнат Мазур, а Борис Маслов «играл в морзянку» — тянул из Мирного тонкую эфирную ниточку.

В штурмане же покамест нужды не было: поезд шёл по колее.

Следом вёл тягач с жилым балком Давид Мазур, за ним с камбузом на борту двигался Василий Сомов. Хозяйничал на камбузе Петя Задирако, помогал ему доктор Алексей Антонов.

Тягач, в кабине которого сидели Валера Никитин и Тошка Жмуркин, называли «неотложкой»: в его кузове был смонтирован кран со стрелой, в ящиках находились всякого рода запчасти — стартеры, генераторы, прокладки, форсунки, подшипники и прочее. На предпоследнем тягаче со вторым жилым балком шёл Ленька Савостиков, а замыкал поезд Гаврилов, тянувший сани с хозяйственным грузом.

Итого шесть машин и десять человек.

Шли друг за другом, соблюдая дистанцию в десять — пятнадцать метров. Колея была полуметровая, хорошо заметная. В центральных районах Антарктида скупа на осадки, снега выпадает немного, и колею обычно не заносит — к счастью, потому что снег здесь слабой плотности и рыхлый, в нём ничего не стоит завязнуть: первопроходцы, которых Алексей Трёшников вёл во Вторую антарктическую экспедицию к Востоку, хлебнули горя на этом участке.

По расчёту, прикидывал Гаврилов, до Комсомольской остаётся километров тридцать. К утру доползём, если ничего не произойдёт. Походы, размышлял он, бывают удачные и неудачные. Лёгких походов Гаврилов не помнил, но удачные случались. Поломки, ремонты, пурга — без этого, конечно, не обходилось, однако шли весело, с улыбкой. А в другой раз все восставало против тебя: и природа и техника. И поход получался мучительный. «В аварии всегда виноват командир корабля», — вспомнил Гаврилов афоризм своего друга, полярного лётчика Кости Михаленко. Если брать по большому счёту, то Костя, конечно, прав. Виноват командир, в данном случае он, Гаврилов. Виноват во всем! И в том, что вышли так поздно (в разгрузку спать нужно было меньше!), и в том, что солярка загустела (кому на слово поверил? Синицыну!), и в том...

Гаврилов резко затормозил, открыл дверцу и пустил ракету: из-под балка на тягаче Леньки Савостикова выбивалось пламя.

ПОЖАР

Языки пламени, подгоняемые боковым ветерком, охватили всю левую стенку балка и подбирались к крыше. Несколько походников вгрызались лопатами в снег и бросали в огонь рыхлые комья, а Гаврилов и Сомов, задыхаясь от едкого дыма, откручивали болты, которыми балок был закреплён в кузове тягача.

— Батя, газ взорвётся! — бросая лопату, крикнул Маслов.

— Трос, быстрее! — заорал Гаврилов. — Ленька, вон из балка!

Из тамбура один за другим вылетели два спальных мешка, вслед за ними выпрыгнул и начал бешено вертеться на снегу Ленька Савостиков, сбивая огонь с промасленной, заляпанной соляркой одежды.

— Трос... Мигом!..

Братья Мазуры дотащили и подцепили к торцу балка тяжёлый танковый трос. В кабине тягача Савостикова уже сидел наготове Тошка, за рычагами гавриловского — Никитин.

— Р-разом! Тягачи рванули в противоположные стороны, и пылающий балок с грохотом рухнул на снег.

— Ложись! — взревел Гаврилов. — Куда?! Назад! Последнее относилось к Леньке,

который в дымящейся куртке ринулся к опрокинутому набор балку и стал лихорадочно срывать принайтованные к крыше ящики и мешки о продовольствием. Гаврилов подскочил к Леньке, ухватил его за руку и поволок в сторону.

— Ложись!

Взрыв, бурная вспышка пламени, и ночную темень прорезали тысячи разноцветных звёзд: это взлетел на воздух баллон с пропаном и ящик с ракетами.

— Хорош фейерверк! — вскакивая, сострил Тошка, но Сомов дёрнул его за ногу, и Тошка упал.

Ещё два взрыва, и над головами походников со свистом пролетели куски дерева и осколки разорванной стали.

— Дундук! — зло выдавил Сомов, прижимая Тошкину голову к снегу.

Ещё мгновение, и разнесло последний баллон. Больше взрываться было, нечему.

На том месте, где лежал балок; дымилась глубокая чёрная яма. Вокруг неё столпились походники. Из-под укутавших их лица подшлемников вырывались клубы пара. Постояли, отдышались.

— Капельницу, что ли, не погасили? — предположил Игнат.

— Мы с Тошкой уходили из балка последними, — припомнил Никитин. — Погасили, точно.

— Чего натворил? — хрипло спросил Леньку Сомов. Ленька понурил голову.

— Не приставай, видишь, переживает, — съязвил Игнат. — Сосунок!

Сжав кулаки, Ленька, как слепой, пошёл на Игната.

— Давай, давай морды бить! — рявкнул Гаврилов. — Я вам!..

Гаврилов круто повернулся и направился к Ленькиному тягачу. Включил карманный фонарик, присмотрелся, выругался.

Все, подошли и склонились над левой выхлопной трубой. Она была оголена, лишь по бокам висели почерневшие лохмотья обмотки. Ясная картина: прогорели медно-асбестовые прокладки выхлопного коллектора, и от раскалённой отработанными газами трубы загорелся настил балка.

— Прокладки, батя!

Отправляясь в поход, Гаврилов всегда менял прокладки на новые, чтобы наверняка хватило на всю дорогу. Первое и святое дело? Но перед этим походом тягачи ремонтировал Синецын. Снова Синецын!

И снова виноват он, Гаврилов. Нужно было ещё час не поспать, проверить прокладки.

— Сменить, — ощущая тупую боль в сердце, приказал он. — Развернуть машины, включить фары. Пошуруйте вокруг.

Нашли немного. Кроме сброшенных Ленькой в последнюю минуту двух мешков с хлебом и трех ящиков с полуфабрикатами, разыскали помятую печку-капельницу, разорванные баллоны из-под пропана, обгоревший остов запасной рации и чудом оставшийся невредимым большой ящик с брикетами замороженного бульона. Сгорели все личные вещи жильцов балка — Савостикова, Сомова, Никитина и Жмуркина, фотоаппараты и кинокамеры и, самое главное, картонная коробка с «Беломором» и «Шипкой». Её искали особенно долго, страшно было остаться без курева. Не нашли.

За обедом подсчитали: на восемь человек курящих имелось десятка три с небольшим сигарет и неначатая пачка «Беломора». Доверили весь запас Задирако и решили курить одну на троих после обеда.

Хлеба должно было хватить — с учётом нескольких мешков на камбузе, а вот полуфабрикаты и газ Гаврилов приказал расходовать экономно. Кроме того, велел Борису Маслову беречь рацию в «Харьковчанке» как зеницу ока, а Задирако — помалкивать про то, что единственный мешок соли разметало взрывом. Через пять-шесть часов ходу — Комсомольская, может, там найдётся.

В камбузе было холодно, но покойно, никому не хотелось плестись по морозу к тягачам и до утра в одиночестве ишачить за рычагами.

— Вернусь, — размечтался Тошка, — приду к Синицыну в гости. Такого человека, как я, он примет с уважением (Тошка мимикой изобразил уважение, с каким отнесётся к нему Синицын), а я ему: «Сымай штаны!» А он: «Какие такие штаны?» А я: «Твои, взамен тех, что у меня сгорели по твоей милости!» Деваться ему некуда, сымет штаны, а я ему: «Пёс с тобой, таскай, куда тебе на улицу с голым задом!»

— Паяц! — неодобрительно глядя на развеселившихся товарищей, буркнул Сомов.

— Валера, одолжи на перегон Тошку! — отмахнувшись от Сомова, попросил Давид. — Вернёмся — месяц пивом поить буду!

— Как это так одолжи? — заважничал Тошка. — Я тебе, брат, не какой-нибудь Фигаро. Этак каждый начнёт канючить: «Давай мне Тошку!» Вас вона сколько, а Тошка один.

— Ладно, езжай до Комсомольской с Давидом, — с лаской в голосе сказал Гаврилов. — Только не заговори его допьяна, собьётся с курса и загонит машину на Южный полюс. А ты, племянник (к молчаливому Леньке), не вешай нос, а то я подумаю, что ты барахло своё жалеешь. Сдирать стружку с тебя пока не стану, тем более Петя не разрешит, раз ты ему хлеб и бифштексы выручил. Ну, сыночки, по коням!

— Спасибо, мать кормящая, — поклонился повару Валера.

— Приходите ещё, не стесняйтесь, дорогие гости, — заулыбался Петя.

— Что в журнале записать, батя? — спросил Маслов.

— Прокладки, — хмуро ответил Гаврилов, не в силах отвести взгляда от окурка, который после него досасывал радист. — Запиши, что Плевако не сменил, а Гаврилов, сукин сын, не проверил. И про разбитые горшки — наши потери — запиши, чтобы главбуху доставить развлечение.

— Ты, друг, не обижайся, — натягивая на голову подшлемник, сказал Леньке Игнат. — Ну, ляпнул сгоряча.

— А я и не обижаюсь! — вызывающе ответил Ленька. — Думай только, когда говоришь, понял?

— Хорошо, хорошо, — дружелюбно сказал Игнат. И походники разошлись по машинам.

ЛЕНЬКА САВОСТИКОВ

Не бывать бы Леньке в Антарктиде, если бы за него, родного племянника, слёзно не молила Катя. Очень не хотелось Гаврилову брать Леньку, но ни в чём он не мог отказать жене. Для виду поупрямился, поворчал и уступил. Полина, Катюшина сестра, в голос выла, просила зятя возвратить сына человеком. Гаврилов сердился — Антарктида, мол, не исправительная колония, но в глубине души был польщён. Пообещал, что проследит, выбьет дурь из ветреной головы. Сестры наделяли его чрезвычайными полномочиями, а Ленька слушал и ухмылялся. Против Антарктиды, впрочем, он не возражал: слава, нагрудный значок да деньги, и, говорят, немалые. Великодушно позволил себя оформить и поехал на край света — превращаться в человека, как докладывал друзьям на проводах.

А Леньку брат Гаврилов не хотел потому, что в его глазах племянник жены имел два крупных недостатка. Во-первых, был писаным красавцем, а к этой разновидности людей Гаврилов вообще относился с подозрением; во-вторых, в недавнем прошлом боксёром, даже мастером спорта. А спортсменов, особенно именитых, Гаврилов не слишком-то уважал. Хотя сам он не без удовольствия смотрел матчи по телевизору и слегка болел за «Зенит», но не мог понять спортсменов, тратящих немалую энергию столь, на его взгляд, бессмысленно. Когда ему доказывали, что спортивные зрелища дают тысячам людей необходимую им разрядку, он не спорил, но шутливо ссылаясь на своё «крестьянское воспитание»: мол, с детства приучен уважать лишь тех, кто делает работу. За такие отсталые взгляды Васютка сгоряча обозвал папу «вымирающим мамонтом», что рассмешило Гаврилова до слез.

Впрочем, своему десятилетнему первенцу он готов был простить все.

Ленькины же «подвиги», о которых в семье ходили легенды, Гаврилова не очень

волновали. Слушая сетования сестёр, он посмеивался, а когда Катя сердилась на такое его легкомыслие, тут же признавал свои ошибки. И думал, что четверть века назад он бы из этого парня сделал лихого танкиста. Хотя и в Антарктиде случаются такие переделки, что вся пыль с человека слетает и раскрывается его существо. А что касается Ленкиных «подвигов», то женщин там нет, собутыльников днём с огнём не найдёшь, нос задирать не перед кем. Тогда и посмотрим, мужик ты или тряпка.

Так Гаврилов, отбросив немалые сомнения, ваял Ленку с собой. Решил пристроить его в Мирном, не брать сразу в поход. Но перед самым выходом Мишке Седову вырезали аппендикс, и волей-неволей пришлось Гаврилову вместо надёжного механика-водителя посадить на тягач племянника.

А был Ленка Савостиков удивительно хорош собой: под метр девяносто ростом, и фигура такая, что на пляже магнитом женские взгляды приковывала, и шея, запросто выдерживающая целую гроздь девчонок, буйные русые волосы, белозубая улыбка и шальные голубые глаза. Рядом с Ленкой парни нервничали и инстинктивно старались увести подальше от него своих подруг. И наверное, правильно делали, потому что было в Ленке что-то такое, что давало ему непонятную власть над женщинами.

В семнадцать лет Ленка был чемпионом по боксу среди юношей, его портреты печатали в газетах, его узнавали на улицах. Спортивные, журналисты восторженно описывали игру ног, нырки и сокрушительные крюки чемпиона, а несколько тренеров веселили публику спорами о том, кто открыл Савостикова. В школе с ним почтительно здоровался за руку директор, мальчишки на улицах просили автографы, а девчонки, которые год назад не обращали на долговязого подростка никакого внимания, пускали в ход всё своё нехитрое искусство, чтобы похвастаться таким поклонником. Год славы сделал из него законченного эгоцентриста; в газетах он читал лишь заметки о себе, обижался, когда писали мало, и соглашался с теми, кто считал его исключительным явлением.

Его новый тренер, сам известный в прошлом спортсмен, знал цену подобным восхвалениям, посмеивался над ними и учил своего воспитанника с юмором относиться к таким заголовкам, как «Всепобеждающая улыбка юного чемпиона». Ленка делал вид, что так к славе и относится, но, изучая в большом зеркале гардероба своё отражение, думал о том, что тренер просто завидует; нигде, даже в кино, Ленка не видел такого мощного и в то же время пропорционального тела, такой обаятельной улыбки.

Мать, работница-ткачиха, потерявшая мужа в конце войны, гордилась сыном и со вздохом подмечала взгляды, которые бросали на её ребёнка взрослые женщины.

Проснулся Ленка поздно, в восемнадцать лет, когда его сверстники уже бахвалились своими скромными и большей частью выдуманными победами. Но пробуждение это было столь бурным, что отныне мать позабыла, что такое покой.

Учился он тогда в десятом классе, перекачивался из четверти в четверть на тройках — благодаря заботам директора, который, как и многие люди умственного труда, преклонялся перед физической силой. Учителя бунтовали на педсоветах, доказывали, что гастролёр Савостиков портит коллектив класса, но директор напоминал о престиже школы, и они со скрипом исправляли двойки на тройки. Лишь Татьяна Евгеньевна, молодая, только что с институтской скамьи учительница химии, отказывалась от компромиссов. Ей и было суждено сыграть неожиданно большую роль в судьбе Савостикова, который и самому себе боялся признаться, что из-за желания увидеть Татьяну Евгеньевну он уже пропустил несколько тренировок. И вот однажды на уроке химии Ленка, совсем забывшись, уставился на учительницу горящими глазами, в голове его звенело. Было, наверное, в его взгляде что-то нескромное; Татьяна Евгеньевна вспыхнула, вызвала гастролёра к доске и несколькими колкими вопросами сделала из него посмешище. — Что же вы молчите? — иронизировала она под хихиканье класса. Кулаками легче работать, чем головой, правда? Нечего сказать, да?

Здесь и разразился скандал. Никто ещё безнаказанно не смеялся над Савостиковым!

— Почему это нечего? — облизнув пересохшие губы, весело сказал Ленка. Можем и

ответить.

Он подошёл к учительнице, рывком поднял её на руки, крепко прижал к груди и поцеловал в губы.

За дикую выходку Леньку выгнали из школы, но без дела он проболтался недолго. Как раз подошло время, и его призвали в армию. Правда, оставили в Ленинграде — проходить службу при спортивном клубе. Так что поначалу Ленькина жизнь если и изменилась, то к лучшему. Вечно окружённый толпой приятелей и поклонниц, он прожил едва ли не самые приятные в своей жизни полтора года. Удача так и плыла в Ленькины руки: блестящие победы на ринге будоражили прессу, спортсменки готовы были идти и шли за ним по первому зову.

На тренировках все чаще появлялись заплаканные девчата, иные и вовсе перестали приходить. Ребята Леньку усовещали, но без особого успеха. Так продолжалось до тех пор, пока не бросила спорт и не уехала в другой город чемпионка по плаванию, на которую возлагались большие надежды. Это был уже перебор. Потеряв терпение, начальник клуба, согласовал с кем надо наболевший вопрос, и рядового Савостикова — в армии приказов не обсуждают! — направили проходить службу в часть на далёкий северный остров.

На этом острове, состоявшем из скал, льда и пурги, некому было очаровываться Ленькиной физиономией, мало кого интересовал значок мастера спорта, и с утра до ночи род командой замухрышки сержанта рядовой Савостиков строился, драил автомат, зубрил материальную часть и пилил на воду снег. Зато — нет худа без добра — выучился работать на тракторе и вездеходе, приобрёл специальность. Впрочем, это обстоятельство для Леньки цены не имело: он был уверен, что дорога ему суждена другая. Но, будучи парнем не глупым, старался не очень высказываться по этому поводу и вёл себя скромно.

Закончилась служба, Ленька вернулся домой и, не теряя времени, принялся навёрстывать упущенное. Сил у него не убавилось, быстрота и реакция вернулись после нескольких месяцев тренировок, и о Савостикове снова заговорили. В составе сборной он побывал в нескольких зарубежных турне, привёз оттуда газеты со своими фотографиями и замшевые куртки.

Избалованного успехами Леньку несло по течению. Ему казалось, что этому празднику не будет конца. Но вот одно за другим случились два события, напрочь разорвавшие цепь удач.

Сначала его жестоко избил молодой боксёр-перворазрядник, новая восходящая звезда, как окрестили его репортёры. Ленька и раньше проигрывал иногда бои, но не столь, позорно и безоговорочно. Дважды во втором раунде он побывал в нокдауне и с трудом дотянул до гонга — как оказалось, зря, потому что в начале третьего раунда пропустил сильнейший удар в солнечное сплетение и очнулся уже за канатами. Это поражение повлекло за собой тяжкие последствия: нокаутированному боксёру в течение года запрещается выступать в соревнованиях, и Леньку отчислили из сборной команды. «Друзья» не отказали себе в удовольствии прислать ему газетные вырезки, где клеймился «перспективный в прошлом», «не соблюдавший спортивного режима», «задравший нос» и «плюющий на честь коллектива» Савостиков.

Отстранённый от соревнований и связанных с ними поездок, Ленька вставал теперь в шесть утра по будильнику, ехал в переполненном трамвае за Нарвскую заставу на стройку, куда он устроился на работу, и вкалывал за рычагами бульдозера полновесных восемь часов, от звонка до звонка.

После такого рабочего дня тренироваться было трудно и неинтересно. Ленька выходил из формы, пропадала реакция, отяжелели ноги. Кое-кто ему сочувствовал, кое-кто злорадствовал, а тренер все чаще смотрел на своего бывшего премьера с открытым сожалением. «Отработанный пар», — услышал Ленька как-то за своей спиной. Его гордость страдала, и он махнул на спорт рукой.

В это время произошло и второе событие. На одной лестничной клетке с Савостиковыми в однокомнатной квартире жила Вика, студентка-медичка. Родители её,

инженеры-геологи, завербовались на три года и уехали на Север искать золото. Вику, скромную и приветливую, в Доме любили, и даже на абонированных пенсионерами скамейках её доброе имя под сомнение не ставилось. Была она ни хороша, ни дурна собой. Маленькая, аккуратная, с большими и серьёзными карими глазами, она могла бы, пожалуй, заинтересовать ребят, не очень избалованных женским вниманием, если бы не отпугивала их своей строгостью.

Хотя Ленька встречал Вику чуть ли не ежедневно, он её не замечал, здоровался и проходил мимо. Эта девушка для него не существовала, она просто являлась принадлежностью дома вроде ворчливой лифтерши Кирилловны: слишком разительной была разница между красотками, продолжавшими домогаться его внимания, и «пигалицей», как снисходительно называл её Ленька. Он бы, наверное, расхохотался, если бы узнал, что мать, которая с симпатией относилась к соседке и частенько угощала её пирогами, тайком мечтает о Вике как о невестке. Впрочем, мать была достаточно дальновидна и о своих матримониальных планах не распространялась.

Однажды вечером она попросила сына помочь Вике установить холодильник, доставленный из магазина. Ленька зашёл к соседке, мигом выставил на лестницу двух грузчиков, клянчивших «на бутылку» за уже оплаченную работу, и без труда втащил «ЗИЛ» на кухню. Ленька был в безрукавке, мускулы его играли, и он не без удовольствия уловил восхищённый взгляд девушки.

— Вы сильный, — сказала Вика и нахмурилась, потому что Ленька игриво улыбнулся. — Большое спасибо, всего хорошего!

Вика шагнула к двери, халатик её распахнулся, и Ленька тут же отметил, что у пигалицы стройные ножки.

— За спасибо не выйдет, на чаек бы с вашей милости, — пошутил он. Вика растерялась.

— Я имею в виду самый натуральный чаек, — улыбнулся Ленька. — Или кофе.

Уже через несколько минут Ленька пожалел, что напросился в гости. Вика слушала его разглагольствования о боксе и киноактрисах вежливо, но без любопытства и даже, как ему показалось, с затаённой насмешкой. Неприятно задетый, Ленька пустил в ход весь свой арсенал: улыбался, бросал обволакивающие взгляды, как бы случайно дотрагивался до руки девушки, но все эти испытанные приёмы на Вику не действовали. Более того, глаза её стали холодными и враждебными, а когда Ленька попытался дать волю рукам, она спросила: в упор:

— Вы и в самом деле считаете себя неотразимым?

Ленька смешался и глупо ответил что-то вроде того, что до сих пор осечек у него не бывало.

— Ну, тогда вам просто везло, — отчеканила Вика и встала. — Мне о вас соседи уши прожужжали, я думала, что познакомлюсь действительно с интересным человеком, а вы, извините, грубое животное!

Ленька ушёл униженный и побитый, как после нокаута. В нём что-то надломилось. Он ожесточился, начал выпивать и, чего раньше с ним не бывало, затеял несколько безобразных драк. К счастью, начальник отделения милиции, куда несколько раз приводили Леньку, оказался его старым болельщиком и протоколов не составлял, ограничивался отеческим внушением, но рано или поздно и его терпению мог прийти конец.

Леньке было плохо. Работа бульдозериста не приносила удовлетворения, сдать на аттестат зрелости он так и не удосужился, будущее казалось бесперспективным. Все уходило в прошлое: слава, обаяние юности, удача. Он вспоминал хлёсткое, как удар открытой перчаткой: «...вы, извините, грубое животное!» — и с горечью думал, что никогда ещё его так сильно не били.

Угнетало и чувство вины перед матерью, которая тяжело переживала его падение. Её здоровье заметно пошатнулось, и Ленька страдал. Поэтому и на Антарктику согласился легко, тем более что возвращение с такой почётной зимовки должно было вновь привлечь к

нему внимание — в этом Ленька не сомневался.

* * *

Тягач полз по утрамбованной колее, его рёв сотрясал барабанные перепонки, и оттого на ходу как-то забывалось, что ты находишься в самом тихом и пустынном уголке планеты. В кабине было жарко, градусов за тридцать. Ленька сбросил шапку, чуть опустил стекло на левой Дверце и, не отрываясь, смотрел, как говорили водители, «на Антарктиду», чтобы не сбиться с колеи.

Первое время рычаги не слушались его, и тягач то и дело сползал в сторону. Если он буксовал в сыпучем снегу, или садился по пузо в рыхлый, Гаврилов вытаскивал застрявшую машину на буксире. Однако, пройдя путь до Востока, новичок набрался опыта и орудовал рычагами не хуже других.

И вообще до обратного похода Ленька на жизнь не жаловался. Сорок дней морского путешествия к берегам ледового материка на комфортабельном теплоходе «Профессор Визе» запомнились, как хороший отпуск. В декабре, когда ленинградцы мёрзнут в пальто, Ленька загорал в тропиках, купался в бассейне, разгуливал в белых джинсах по Лас-Пальмасу и с размахом тратил валюту на ледяное пиво и кока-колу.

Товарищи приняли его — не только такие же, как он, первачки, но и старые полярники, допускавшие в свою замкнутую касту не всех и не сразу. Ленька, когда тога хотел, мог произвести впечатление: он быстро нашёл верный тон и определил линию своего поведения. Он понял, что настоящим мужиком полярники считают не того, у кого самые сильные мышцы, а того, кто показал себя в деле «достойным носить штаны»: весом чуть больше трех пудов лётчика Ананьина, который мог лихо сесть на торосистую льдину размером с половину футбольного поля, взлететь, перескакивая через трещины, и «на честном слове» дотянуть до базового аэропорта обледеневший самолёт; братьев Мазуров, которые мало бы чего стоили в глазах Ленькиных приятельниц, но без которых не шёл ни в один поход Гаврилов; скромного и входящего в дверь последним Семёнова, обветренного пургами Крайнего Севера закалённого стужей трех зимовок на Востоке. Это были настоящие мужчины, достойные уважения; таких, составлявших полярную элиту, на «Визе» было десятка полтора, и они приняли Леньку. Во многом, конечно, благодаря его родству с Гавриловым, но и не только поэтому: красивый истинной мужской красотой богатырь, открытый и общительный, известный по фотографиям и ни словом не заикающийся об этой известности, Ленька пришёлся по душе новым товарищам. Того, чего боялся Гаврилов, не произошло: вёл себя племянник тактично, пыль в глаза никому не пускал и за все сорок дней плавания проштрафился только раз, когда пытался приударить за буфетчицей, кают-компании. Гаврилов жестоко его изругал, и Ленька отказался от столь опасного на судне соблазна.

Не подвёл племянник и в деле, когда «Визе» по пробитому «Обью» каналу подошёл к Мирному и пришвартовался у припая. В разгрузку Ленька работал за четверых, сутками гонял трактор по неверному льду, и даже Макаров, от которого похвалу можно было услышать раз в году, и то в високосном, благосклонно пошутил насчёт «гавриловской крови». Хотя «кровное» родство между дядей и племянником отсутствовало, довольный Гаврилов не стая поправлять начальника экспедиции и послал сестре жены радиogramму, которая принесла матери радости больше, чем вся популярность, завоёванная сыном на ринге.

И в походе на Восток Ленька проявил себя неплохо. Правда, технику он знал слабо и один раз чуть не расплавил подшипники коленчатого вала, забыв добавить масла из дополнительного бака в рабочий. К счастью, тягач застрял в метровых застругах, и Ленька заглушил двигатель; ещё немного, и машину пришлось бы бросить: отремонтировать её в условиях похода было бы невозможно. С того дня Ленька не забывал следить за манометром и на каждой остановке проверял щупом, сколько масла осталось в рабочем баке, и за

пальцами на гусеничных траках ухаживая, как когда-то за своей причёской, и трогался с места только на первой передаче. Понемногу привык, освоился. И если секретов ремонта двигателя так и не постиг, то его физическая сила в походе очень пригодилась. Ленька запросто перетаскивал бочки с маслом, без устали махал кувалдой и, не ожидая просьб, выполняя другую работу, требовавшую большой затраты сил.

Он вырос в собственных глазах, самоувердился, потому что приобрёл то, чего ему в последнее время не хватало. Пожалуй, думал он, уважение этих ребят заслужить потруднее, чем восхваления репортёров.

Ленька ловил себя на том, что стал по-иному оценивать людей. Гаврилова, например, денежного дядю, не раз помогавшего матери сводить концы с концами, он раньше считал чудачком: есть дача, машина, жена и дети, директор Кировского завода лично звонит, предлагает хорошую должность, а дядя Ваня идёт на старости лет в полярку.

Теперь, увидев Гаврилова в деле, разобрался, понял, что он за человек. И бывших дружков своих переоценил — с большой уценкой. Не то чтобы его к ним совсем не тянуло и чтобы не хотелось вновь окунуться в праздничную атмосферу большого спорта. Окунуться окунулся бы, но с оглядкой, с пониманием того, что есть в жизни вещи посолиднее...

Однако больше всего Леньку поражало то, что медленно и верно его душой завладевала, маленькая и не очень эффектная девушка, пигалица, дурнушка по сравнению с теми, кто почитал за честь пройти с ним под руку. Он вспоминал о ней со стыдом и растущей, незнакомой ему нежностью и подумывал о том, что по возвращении постарается доказать, что не такой уж он конченный...

С таким настроением Ленька пришёл на Восток.

Лишних спальных мест на станции не было, и походникам приходилось ночевать в своих балках. Соседом Леньки по нарам оказался Василий Сомов, не лучший сосед, какого можно было бы пожелать, ибо Василий был сух, замкнут и феноменально скуп — качество, совершенно уж презируемое полярниками, привыкшими свой кошелёк вытаскивать первыми. Когда на стоянке в Лас-Пальмесе ребята наслаждались пивом и шашлыками, Сомов жевал захваченную с собой сухую колбасу. Курил он преимущественно чужие папиросы, на радиogramмы тратился по праздникам — словом, был законченным жмотом. Не будь Сомов отменнейшим, едва ли не лучшим в отряде механиком-водителем, вряд ли Гаврилов брал бы его в походы.

Сомов и разбередил Ленькину душу несколькими вскользь брошенными словами.

Случилось это в последнюю ночь на Востоке, когда вся станция замерла в ожидании двух последних самолётов. Спали в эту ночь плохо. В Ленькином балке на верхних нарах чуть слышно шептались Тошка Жмуркин и Валера Никитин. Смысл обрывочно доносившихся фраз Ленька понять не мог, но чувствовалась в них смутная тревога, отчего и самому Леньке вдруг стало, как-то тоскливо.. Он с головой влез в спальный мешок и попытался уснуть, однако сон никак не приходил, Ленька высунулся из мешка и с неудовольствием вдохнул табачный дым: Сомов курил, хотя обитатели балка с самого начала решили этого не делать. И без того от печки-капельницы несло соляным духом, дышать нечем.

— Свои? — с наивозможнейшим сарказмом спросил Ленька. — Свои, — вздохнул Сомов. — Не накурился за день? — А тебе какое дело? — А такое, что договаривались. Договор дороже денег, усвоил? — На том свете взыщешь, — проворчал Сомов. — Помирать собрался? — Здоровый ты, парень, а глупый. Походил бы с моё... — Ну и что? — А то, что пиши, парень, завещание... — Это почему? — с вызовом спросил Ленька.

Сомов не ответил, погасил о стенку балка сигарету и укрылся с головой в мешке.

Давно кончили разговор, похрапывали наверху Тошка и Валера, глухо покашливал во сне Сомов, а Ленька никак не мог забыться, охваченный тревожным предчувствием. Он припомнил отдельные реплики, намёки, что слышал в последние дни, объединил обрывки ничего вроде не значащих фраз в одну цепочку, и перед ним все более отчётливо стала обрисовываться безнадёжность предстоящего похода. Да, безнадёжность! Зря Макаров не

пошлёт такую радиограмму и Семёнов не станет понапрасну обрабатывать Гаврилова — «возвращайся, Ваня, самолётом». И мысль о том, что он в свои двадцать пять лет может погибнуть, ужаснула Леньку. Он представил себе мёртвый, занесённый снегом поезд, свой заглохший навеки тягач и себя, скрученного последней судорогой. Ленька прогонял от себя это видение, старался думать о разных приятных вещах, ждущих его по возвращении домой, но страх, вползший в него исподтишка, не уходил. На любые трудности готов был Ленька, на любые муки, только не на неизвестную смерть!

Всю жизнь он любил быть на виду, красоваться перед людьми, вызывать зависть и восхищение. На людях он мог совершить любой подвиг, если бы в это время на него смотрели и восторгались его мужеством и геройством. Во время разгрузки «Оби», когда с тридцатиметровой высоты на лёд полетел многопудовый ящик, Ленька успел отбросить в сторону матроса, которого через долю секунды расплющило бы в лепёшку. Люди смотрели! Когда Коля Рошин провалился с трактором под лёд, Ленька бросился без раздумий в ледяную воду. Люди смотрели! Это было для Леньки важнее всего. Он и в Антарктиду пошёл потому, что об этом будут знать люди. Только так. Скажи ему, что сцену его гибели покажут по телевидению, Ленька мгновенно воспрянул бы духом. Но погибнуть неизвестно, навсегда остаться в белом безмолвии или, если их найдут, упокоиться на братском кладбище острова Буромского у Мирного!

Гордость не позволила Леньке сказать своё слово во время голосования, он смолчал. Но с той минуты, когда последние два самолёта улетели, уверенность покинула его.

В первые дни похода поезд шёл довольно быстро, километров по тридцать в сутки, и временами Леньке казалось, что тревога его пустая. Но когда морозы перевалили за шестьдесят и раскрылась скверная история с топливом, Ленька сник. Помрачнел, стал молчалив. Глаза глубоко ввалились, железные бугры мускулов опали. До помороженных щёк было больно дотрагиваться, пальцы распухли и еле сгибались в суставах. Рыжеватая шкиперская борода, по общему мнению очень шедшая ему, свалилась и торчала безобразными клочьями. Впрочем, Ленька не знал об этом, поскольку давно не умывался, не смотрелся в зеркальце и даже где-то его потерял.

А до Мирного оставалось больше тысячи километров пути.

Всем было плохо. Втайне от всех сосал валидол Гаврилов, еле переставлял помороженные доги Петя Задирако, в кашлял с кровью Валера Никитин. Всем было плохо, но от сознания этого Леньке не становилось легче.

Он вёл тягач, отрешённо смотрел перед собой и с тоскливой покорностью ждал очередной поломки. С Востока, уступив наплыву чувств, послал Вике радиограмму: «Ответь одним словом, можно ли тебе писать», и сегодня в обед Борис Маслов сунул ему маленький листочек с двумя словами: «Да. Вика». Получи он этот ответ на Востоке — наверное, был бы счастлив. А сейчас равнодушно скользнул до листку глазами и сунул в карман.

Худший враг человека — безнадёжность.

Смотрел Ленька перед собой, на темневший впереди тягач Валеры Никитина, на усеянное холодными, блестящими звёздами чёрное небо, и внезапная жалость к самому себе полоснула его по сердцу.

И он заплакал.

ВАЛЕРА НИКИТИН

Тридцать километров, оставшиеся до Комсомольской, шли трое суток. И произошло это, как в шутку упрекали Гаврилова ребята, из-за его неосторожной реплики за обедом о пяти-шести часах пути до станции. Не имел он никакого права так говорить. Подумать про себя — пожалуйста, но произносить такое вслух ни один настоящий полярник себе не позволяет, так как человеческий расчёт оскорбляет Антарктиду, побуждает её указать человеку его место. Полярники — народ по-своему суеверный, их зависимость от Антарктиды слишком велика, чтобы пренебрегать внешними формами уважения к её

возможностям. По шуточному ритуалу, если кто-то случайно оговорится, как это произошло с Гавриловым, товарищи должны тут же его поправить, постучать по дереву и трижды сплюнуть через плечо. Тогда Антарктида, может, и простит ослушнику его дерзость.

Но Гаврилова никто не поправил, и к морозам, которые перевалили за семьдесят, добавился ветер десять метров в секунду. Такие совпадения случаются крайне редко, потому что природа, будучи гармоничной, самые жестокие свои кары старается распределять более или менее равномерно. Так, в центральной Антарктиде с её сверхнизкими температурами почти нет сильных ветров, а в Мирном и вообще на побережье, где метели достигают ураганной мощи, морозы гораздо слабее.

Валера Никитин поругивал батю, но не за оговорку, конечно, а за то, что вынужден был уступить Давиду своего стажёра. Тошка брал на себя главное бремя ремонтов. Теперь с мелкими поломками Валера должен был справляться сам. А чувствовал он себя скверно: то ли застудил лёгкие, то ли просто сказывалась горная болезнь, но его одолевал тяжёлый кашель с красными прожилками в мокроте. Десяток инъекций пенициллина облегчения пока не принесли.

— Вернёмся, — пообещал доктор, — отведу тебя в парную, самолично исхлещу веником, а потом уложу в медпункте — заметь — на чистую простыню, напою чаем с малиной, и наутро встанешь как новенький!

Сказка? Неужели где-то есть такая жизнь?

— Загибает, Шахерезада, — отмахнулся Валера. Парная, чистая простыня, чай в постельку... Эй, стража! Вырвать у лгуна его коварный язык!

Лет пятнадцать назад, припомнил Валера, в двадцатиградусный мороз мать не пускала его в школу. Что бы мамаша сказала, если бы увидела своего сына, выползающего из кабины вред ветром, словно автогеном режущим тело? Наверное, упала бы в обморок. Хотя теперь вряд ли...

Застопорила «Харьковчанка», что-то стряслось у Игната. Поезд остановился, придётся выходить. Заманчиво, конечно, отсидеться в тёплой кабине, а то и вздремнуть, пока Игнат не исправит повреждение, но нужно проверить пальцы. Будь они прокляты, эти стержни, соединяющие траки в гусеничную ленту. Полуметровые, а лопаются, как спички. Недосмотришь, палец выскочит — и гусеничная лента разматается, как змея.

Валера надел подшлемник, ушанку, для страховки обмотал лицо шарфом, поднял капюшон каэшки, как называют полярники свои тёплые, на верблюжьем меху куртки, и вылез из кабины. Тут же подставил ветру спину, но мороз все равно добрался до глаз, чуть не склеив ресницы, прокрался к запястьям (сколько ни говорили насчёт рукавиц — все равно шьют короткие) и сковал дыхание. Валера постоял, унял бешеный стук сердца, взял молоток и стал осматривать ленту. Так и есть, вылезли головки двух пальцев. Спасибо, Игнат, вовремя остановился. Теперь нужно хорошенько подумать, как половчее произвести замену. На мгновение мелькнула соблазнительная мысль: осторожно вбить головки назад — авось продержатся до следующей остановки, а там уже поставить новые пальцы. Иногда ребята так и делали, если очень сильно уставали. Но это было рискованно, да и батя, если догадывался, за такие «шалости» пощады не давал.

Валера отошёл от колеи влево, посмотрел: все водители хлопотали у лент, у всех одно и то же... А пальцы, как на трех, лопнули под вторым и третьим катком. Пришлось чуть проташить тягач вперёд, с таким расчётом, чтобы сломанный палец оказался в провисающей части гусеницы, между ведущей звёздочкой и передним катком. Нагнулся, тихонько выбил молотком головку. Теперь предстояло самое тяжёлое: вставить в отверстие новый палец и вколотить его кувалдой, выталкивая остаток сломанного.

Перед такой работой желательно передохнуть, кувалда полупудовая, помахай ею на высоте в три с половиной километра! Валера прокашлялся, наладил дыхание и три раза ударил по головке. Все, стой и жди, пока сердце не перестанет отбивать чечётку. Ещё три раза — и опять стой и жди. Ещё два, ещё один... Кувалда вывалилась из ватных рук, глаза застелила оранжевая пелена, а жидкий воздух отказывался насытить лёгкие.

Минут за двадцать вбил палец, вскарабкался, как старик, в кабину и рухнул на сиденье. Полежал, пришёл в себя. Потом залез под тягач, вставил в проточку пальца два «сухарика», закрепил их шайбой и шплинтом. Голыми руками, потому что «сухарики» крохотные, толщиной в три миллиметра, рукавица их не учует.

На семидесятиградусном морозе — голыми руками!

С мясом ребята отрывали руки от железа. Доктор мазал рваную кожу бальзамом, бинтовал, только помогало это, как заявил Тошка, не больше, чем дохлой дворняге витамины.

Зашплинтовал — и быстрее в кабину. Отогрелся, вновь протащил тягач и пошёл менять второй палец. Вставил. стержень, поднял кувалду, которая, казалось, весила теперь целый центнер, ударил — мимо... И так обидно стало Валере за этот промах, будто совершил он трагическую и непоправимую ошибку. Обругал себя последними словами, прицелился, ударил

— мимо... Бессильный, прислонился к тягачу, в голове роились малодушные мысли. Снова обругал себя, встряхнулся, присел на корточки, чтобы поднять кувалду, и... очнулся от частых и равномерных ударов по металлу

— Ленка вбивал второй палец!.. Семь... десять... пятнадцать ударов подряд! Вбил, забрался под тягач, зашплинтовал, кивнул Валере и пошёл к Сомову — помогать.

Спасибо, Ленка, хороший ты парень, выручил. Просить бы тебя, конечно, не стал, но спасибо. Сегодня ты, завтра я, за нами не останется. Честно скажу, не очень ты мне нравился, но человеку свойственно ошибаться, может, и я в тебе ошибся.

В кабине было тепло, тянуло в сон. Жаль, но придётся приоткрыть окно, иначе одуреешь. Руки ватные, ноги ватные, голова чугунная... Бате ещё хуже. Думает, не знаем, что валидол из аптечки таскает. Ещё в прошлом походе батя запросто расправлялся с пальцем, ворочал бочки и на заготовке снега орудовал ножовкой, как дисковой пилой. Не тот стад батя. Пятьдесят лет и три дырки в груди — многовато для одного человека, если даже он такой богатырь, как батя.

Пошла вперёд «Харьковчанка», двинулись за ней тягачи. «Эх, дороги, вспомнилась песня, — ...знать не можешь доли своей...»

Это, пожалуй, хорошо, что её не знаешь, подумал Валера. Слишком мал человек и хрупок, щепка в житейском водовороте. Кто это сказал, что человек — хозяин своей судьбы? Извините, дорогой товарищ, с таким же основанием я могу утверждать, что хозяин моей судьбы Сеницын. Подготовил он топливо, что в цистерне на Комсомольской, — с песней рванём к Мирному, не подготовил — потащимся, мурлыкая про себя жизнеутверждающую мелодию Шопена.

Впрочем, возразил себе Валера, если размотать цепочку, то свою судьбу определил он сам. Было, конечно, всякое, но последнее слово сказал он.

Валера соскучился по разговору с самим собой и поэтому перестал жалеть о том, что рядом нет Тошки. В походе с ним весело и легко, но бывает, что человеку хочется немного одиночества, хотя бы на часок-другой. Помечтать о прекрасном будущем, о встрече с Машенькой, отцом, близнятками... Батюшки, послезавтра им по восемь лет, чуть не забыл! На первой же остановке дать радиogramму!

Валера расстегнул казшку, вытащил из кармана кожаной куртки фотокарточку в твёрдом целлулоидном футляре. Машенька, сероглазка ты моя нежная, незабудки мои ненаглядные... «И залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать!»

Слух у Валеры был скверный, и свою любимую песню он напевал только про себя. Напевал — и разматывал цепочку.

Из своих двадцати девяти лет девятнадцать он прожил весело и благополучно: вкусно ел и мягко спал, в день совершеннолетия получил от матери нового «Москвича». Не жизнь, а ковровая дорожка, по которой мама вела сыночка за ручку. Родительница была профессором-биологом, директором научно-исследовательского института. Зарабатывала солидные деньги и щедро тратила их на единственное чадо, требуя взамен сыновней любви и

послушания — условия, которые не слишком тяготили Валеру.

Отец роли в семье не играл. Работал где-то младшим научным сотрудником и почти всю зарплату тратил на марки, короче, был чудаком и неудачником. Когда к жене приходили гости, никому на глаза не показывался, покупал продукты и готовил себе отдельно, лишь изредка великодушно соглашаясь на вечерний чай в кругу семьи. Выпив чай, с явным облегчением говорил «спокойной ночи» и уходил к своим маркам — единственному, что любил по-настоящему. К сыну он относился с ироническим равнодушием. Мать смотрела на своего мужа с некоторой жалостью, в глубине души презирая его и проклиная, наверное, ту минуту, когда глупой третьекурсницей объяснилась в любви красивому дипломнику. Что приключилось с отцом, почему он начисто лишён честолюбия, равнодушен к успеху, столь ценимому другими людьми, Валерий в точности не знал; слышал только, что отец что-то изобрёл, опрометчиво, как считалось, отверг авторитетное предложение о соавторстве и такое «негибкое» поведение очень ему в своё время повредило. Но отец об этом не рассказывал, мать тоже уводила разговор в сторону, и Валера перестал затрагивать столь щекотливую тему.

Учился он на химическом факультете университета, легко сдавал экзамены преподавателям, с большим уважением относившимся к Марии Федоровне Никитиной, словом, вёл жизнь, которой многие завидовали. И сам Валера и все окружающие понимали, что дальше будет аспирантура, защита диссертации. Как ни странно, однако, недоброжелателей у Валеры не было. Симпатичный и обаятельный, он вёл себя просто и естественно, и никому в голову не приходило злословить по его адресу. Если уж, рассуждали ребята, кому-то и суждено въехать в будущее на белом коне, то пусть лучше это будет Валерка, чем кто-нибудь другой.

И вдруг эта весело журчащая река жизни с грохотом перешла в водопад.

Время от времени, отправляясь в гости к своим коллегам, мать брала сына с собой. Там бывали не только коллеги матери, учёные, но и артисты, писатели. Валера не без интереса слушал их споры, в ходе которых высказывались парадоксальные мысли, яркие идеи и остроумные гипотезы. Здесь каждый был индивидуальностью: Илья Петрович пополнил таблицу Менделеева, Григорий Иванович стоял рядом с Королёвым, когда Гагарин делал первый виток вокруг земного шара, Мария Федоровна поставила уникальные опыты по синтезу белка, Сергей Павлович завоёвывал призы на международных кинофестивалях, а Николай Валентинович сочинял имевшие успех стихи.

Много спустя Валера признавался самому себе, что, общаясь с этими незаурядными людьми, он научился самостоятельно мыслить. Но тогда он вряд ли по-настоящему ценил их, хотя и гордился тем, что «вхож» в их круг. Куда больше его привлекала соседняя комната, где собирались «потомки» и царила весёлая молодость.

Здесь Валера познакомился с дочерью Ильи Петровича Ниной, немного взбалмошной, но пикантной и острой на язык особой лет двадцати. Бесенята, прыгавшие в её глазах, смелая одежда и дразнящие слухи о её современных взглядах на любовь делали её весьма привлекательной.

Нина охотно позволяла очередному поклоннику присоединиться к своей свите, давала ему надежду вскользь брошенным, но многообещающим взглядом и дурачила всех подряд, зорко высматривая себе, однако, будущего мужа. Валера показался ей подходящей кандидатурой: высокий, голубоглазый блондин, явно не глуп, с покладистым, даже телячьим характером, из хорошей семьи... Правда, говорили, что мальчик завязал на факультете роман с белобрысой волжанкой, но это Нину не беспокоило: она была уверена, что стоит ей пошевелить мизинцем, как телёнок все бросит и примчится туда, куда укажет мизинец. Валера действительно прибегал, вздыхал и страдал, когда она «в воспитательных целях» шла в театр с другим, и светился от радости, когда наутро она звонила и милостиво разрешала отвезти себя в бассейн.

Но волжанку свою не бросил! Уделял ей и времени поменьше, и целовал рассеянной, и врать, жалея её, научился, но — не бросил! С ума сходил по одной, а присыхал к другой.

Почему — сам не мог понять, понял только потом, когда все свершилось: а потому, что в одну влюбился головой, в другую сердцем. Или потому, что одна ослепляла, а другая наивно и преданно любила. И ещё: одна видела в нём вариант с порядковым номером один или два, а другой нужен был один-единственный на свете и больше никто — Валерка Никитин.

«Доброжелатели» доносили матери о волжанке, но Мария Федоровна только посмеивалась. С Ильёй Петровичем все было обговорено и решено, присмотрели даже уютную квартиру — свадебный подарок.

Однажды, приехав домой раньше обычного, Валера услышал голоса отца и матери. Общались родители столь редко, что удивлённый Валера невольно остановился и прислушался. Разговор шёл о нём.

— Позволь решать это мне, — высокомерно говорила мать, — дорогу сыну проложила я.

— Верно, — подтвердил отец, — как бульдозер. Споткнётся твой тепличный отрок на первой же кочке. Самостоятельно, полагаю, он решает только, в какую щеку поцеловать мамочку... Вспомни себя. Ты в своё время...

— Мы другое дело, — перебила мать. — Иные времена, иные песни. Мой сын должен иметь все, чего была лишена я. Мы с Ильёй Петровичем позаботимся о том, чтоб им было хорошо.

— А тебе не приходило в голову, что вы, — с нехорошим смешком произнёс отец, — сводите их, как породистых собак на племя?.. Что, грубо? Ладно, отставить собак... Ну, что вы, скажем, производите на строго научной основе брачный эксперимент, этаким синтез двух «отборных», но, черт побери, совершенно ненужных друг другу людей?..

— А что? — невозмутимо ответила мать. — Любовь — категория иррациональная, и попытка привнести в неё элемент логики...

Больше Валера ничего не слышал. Оглушённый, ушёл в свою комнату и лёг на диван. Сказано зло, но отец прав... И поощрительные улыбки матери, и добродушные реплики Ильи Петровича, и изощрённое кокетство самой Нины; предстали перед Валерой в новом свете.

Встал, подошёл к столу, вытащил из ящика две фотокарточки. Вот они — рядом. Нина... Смуглое лицо с мальчишеской чёлкой, с улыбкой, отрепетированной до автоматизма, но всё равно чарующей, сводящей с ума... И волжаночка, бесхитростная и открытая, с распахнутой душой...

По мере того как созревало решение, Валера успокаивался! Да, он сделает это или навсегда перестанет себя уважать.

Положил фотокарточки на место, выскользнул из квартиры, сел в машину и поехал в общежитие. Увидев его непривычно серьёзным, еле сдерживающим волнение, Маша догадалась и побледнела. Не выдумывали, значит, что видели его с разлучницей. Что ж, чему бывать, того не миновать. Сейчас скажет, ударит, убьёт наповал. Она тоскливо смотрела на Валеру, умоляла глазами: «Не надо, как-нибудь после, потому что ты ещё не знаешь, что во мне твой ребёнок, и если скажешь сейчас, то всю жизнь и не узнаешь».

А когда сказал — не поверила, а поверила — помертвела. Поплакала немножко, умылась, надела своё много раз стиранное платье и туфельки-гвоздики, из-за которых целый месяц сидела на хлебе и чае, увязала толстую русую косу и поехала, потерянная, с ним подавать заявление.

Родителям Валера показал уже паспорт со штампом.

Среди комплиментов, заслуженных и незаслуженных женщины выше ценят незаслуженные. Марии Федоровне не раз говорили о её редкой проницательности, о том, какой она тонкий психолог. Если бы это действительно было так, то, взглянув на лицо сына, мать поступала бы по-иному. А может, психология здесь была ни при чем, а просто имело место состояние аффекта.

— Ключи от машины, — протянув руку, сказала мать. Валера отдал ей ключи.

— Деньги! Валера вытащил бумажник. Мать оставила в нём сорок рублей, возвратила.

— Твоя стипендия, кажется? Разведёшься — приходи. Будь здоров.

Наступало лето, тёплая одежда была не нужна. Валера снял с себя дорогой костюм, надел тренировочные брюки и ковбойку, кеды, в которых ходил в турпоходы, и ушёл не простившись.

Аборт жене делать запретил, учёбу оставил и устроился в таксомоторный парк — сначала учеником, а потом водителем. Сняли они небольшую комнатку. Маша продолжала заниматься в университете, а он зарабатывал на жизнь. Худо ли, бедно, но хватало и на комнату, и на еду, и на скромные обновы.

Однажды к ним заявился отец. Он с деланной иронией прошёлся по адресу отощавшего сына, сострил насчёт будущего внука и, поговорив о том о сём, сделал молодожёнам совершенно неожиданное предложение: объединиться. Сообща сняли две комнатки, жить стало легче. Мало того, что отец умел и любил готовить, — он оказался умным и тонким собеседником. Все трое быстро стали друзьями. Поступок сына отец решительно одобрял.

Как-то Валера признался, что невольно подслушал тот самый разговор, сыгравший немалую роль в дальнейших событиях.

— Признание на признание, — выслушав сына, сказал отец. — Я впервые стал тебя уважать, когда ты хлопнул дверь. Откровенно: в дом, где бы ты обосновался с этой... юной хищницей, я бы не пришёл... Ты слышал, наверное, от матери, что я неудачник. Неудачник я потому, что не решился в своё время поступить так, как ты. И тебя бросать не хотелось, и мать просила не ставить её в ложное положение. В общем, проявил нерешительность... А ты молодец — сам свою жизнь решил строить? Купил тахту — твоя тахта, собственная. Кастрюлю сегодня приволок — твоя кастрюля, за свои деньги купленная. Это, брат, очень важно, что за свои. Голодранцами поженились — жизнь красивее сложится, дети счастливее будут.

О бывшей жене отзывался так: — Женщине положено от природы покорять, мужчин красотой и нежностью, а не приказами через отдел кадров. А женщина с таким характером, как у твоей матери, да ещё заполучившая в руки власть — настоящий бич божий, любое возражение кажется ей возмутительной дерзостью. Если увидишь, — пошутил он, — что Машенька стремительно выдвигается, немедленно разводишь!

Когда родились Оля и Катя, мать прислала коляску и игрушки. Подарки не были приняты. Тогда мать, улучив время, когда мужчины ушли на работу, приехала сама. Придирчиво осмотрела внучек, невестку. Спросила:

— Долго будешь дуться? — Меня вы, Мария Федоровна, нисколько не обидели, я вам человек чужой. Сына обидели. — А он, думаешь, меня не обидел? — Вам виднее, Мария Федоровна. — Так... Пора кончать эту историю... Для начала переезжайте на дачу, вечером пришлю машину... Чего молчишь? — Их дело, может, они и переедут. А мне и здесь хорошо. — А ты, тёзка, гордая штучка... Ладно. «Москвич» Валерия стоит у подъезда, мой шофёр подогнал, вот ключи. Скажи, чтобы вечером навестил мать. — Хорошо, скажу.

Мать поцеловала спящих внучек, холодно кивнула невестке и уехала. А вечером вместе с газетами достала из почтового ящика ключи от машины и короткую записку: «Спасибо, мама, не беспокойся, мы ни в чём не нуждаемся. Будет время — заезжай в гости. Валерий».

Оскорблённая, не простила. Так и не поняла, что пожалала то, что посеяла.

Вскоре Валерий был призван в армию и два года прослужил в танковых войсках. Там он познакомился с Гавриловым, который по просьбе генерал-лейтенанта, своего бывшего комбрига, приехал, в гости к танкистам — рассказать про санно-гусеничные походы по ледовому материку, Гаврилову приглянулись три парня, которые после беседы попросили разрешения остаться и засыпали его вопросами.

— Загорелись? — Так точно, товарищ гвардии капитан...

— ...запаса, Гаврилов погрозил пальцем. — Не льстите. Когда демобили— зуетесь?

— Через месяц, товарищ гвардии капитан запаса!

— Иван Тимофеевич, черти! Не раздумайте, приезжайте. — Гаврилов напи— сал на листке адрес. — До встречи, что ли?

— Так точно, до встречи, Иван Тимофеевич!

И через полгода Валера Никитин и братья Мазуры осуществили свою мечту — пошли в трансантарктический поход.

Так что свою судьбу Валера определил сам.

Этот поход был уже третьим. Каждый раз получался трехлетний цикл: полтора года — Антарктида (зимовка плюс дорога), полтора года — дома. Пять-шесть месяцев — отпуск, год — работа в таксопарке. Окончил заочно автодорожный институт, куда перевёлся из университета, получил диплом, инженера-механика. Заработал, в Антарктиде хорошие деньги, построил трехкомнатную кооперативную, квартиру, принарядил Машеньку, а на положенную полярнику валюту накопил в Лас-Пальмасе близняткам таких игрушек, что в их комнате долго не утихал счастливый визг.

Огрубел, обветрил, плечи раздали, походка отяжелела, ладони покрылись каменнотвердыми мозолями. От прежнего Валеры в нём ничего не осталось, разве что неизменная доброжелательность ко всем, кто в нём нуждался.

В прошлом году, загорая на сочинском пляже, он увидел Нину. Её девичья прелесть исчезла без следа. Она шла по пляжу в сопровождении шумных поклонников; Валера сравнил её с Машенькой, сильной, свежей и красивой в своём материнстве, и таким невыгодным для Нины оказалось это сравнение, что он испытал к ней острую жалость.

Да, Валерий сам принял решение, перевернувшее его жизнь, и гордился им. У него есть любимая жена и две дочки, замечательный отец. Если главное в жизни каждого человека семья и работа, то ему повезло и с тем и с другим.

А если и доведётся погибнуть, то многие помянут его добрым словом.

Впрочем, погибнуть можно везде. Двадцатилетний Дима Крылов, шофёр матери, погиб среди бела дня в Сокольниках, когда отгонял от перепуганной девушки пьяных хулиганов. Карасев, Валерин сосед по дому, здоровяк журналист тридцати пяти лет, неожиданно для всех умер от инфаркта.

А Гаврилов: провоевал всю войну, прошёл двадцать тысяч километров по Антарктиде и вчера за ужином размышлял: «Вот намотаю на спидометр тридцатую тыщу — и засяду на даче писать мемуары. Пре вас; дармоеды!»

Нет, не собирается погибать Гаврилов, и не помышляют о загробной жизни его «адские водители»!

Мы ещё поживём, думал Валера, нам ещё с Машенькой сына нужно родить, для преемственности. Плохо только, что застудил грудь, если воспаление лёгких, тогда, наверное, хана. Но температура вроде не очень повышена, может, какая-нибудь ерунда, вроде бронхита. Если так, то ещё «увидим небо в алмазах».

А кашель — с кровью... Случись такое в феврале, расчистили бы полосу на Комсомольской, в самолёт — и домой, в Мирный. А в семьдесят градусов самолёту не взлететь, да и лётчики уже загорают в тропиках на верхней палубе... Хотя нет, по сводке — а Макаров не забывает, каждый день присылает поезду сводку работы всей экспедиция — «Обь» сейчас только подходит к станции Беллинсгаузена, недели через две будут загорать...

Тепло, хорошо в кабине; но придётся вылезать — Сомов застопорил. Братья Мазуры не заметили, идут впереди, а ракет нет. Ничего, видимость хорошая, не пуржит, рано или поздно глянут назад. Валера укутался, хорошенько прокашлялся и открыл дверцу кабины.

От последней остановки поезд прошёл три километра.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Перед выходом из Мирного Тошка ярко расписал снаружи камбузный балок. На одной стенке был изображён императорский пингвин, чем-то неуловимо похожий на Петю Задирако. Одним ластом пингвин держался за живот, а другим совал в клюв бутылку с этикеткой «Касторка». Надпись гласила: «Заходи — угощу!» Противоположную стенку украшала жизнерадостная коровёнка с рекламным стендом на рогах: «Вперёд, вегетарианцы!»

Му-уу!», -а на торцовой стороне девушка в чрезвычайно экономном купальнике призывно восклицала: «Попробуй догони!» Гаврилов велел заменить эту безыдейную надпись на более выдержанную, однако Тошка дерзко ответил» что у него кончились белила.

Сначала при виде камбузного балка походники не могли сдержать улыбок, но потом привыкли, а кроме них оценить Тошкино искусство было некому. К тому же солнечный диск выползал как раз в то время, когда поезд останавливался на отдых. Заманчиво было поглазеть на мир в свете уходящего дня, но ещё больше манила постель. А потом темнело, и все краски становились на один цвет. Так что и страдающий животом пингвин, и развесёлая коровёнка, и ехидная девушка внимания больше не привлекали.

Встречи на камбузе три раза в сутки были для людей маленьким праздником. В походе камбуз — центр притяжения, столовая и клуб, единственное место, где люди могут собраться и посмотреть друг на друга. Шесть человек садились за откидной столик, остальные размещались по углам. В тесноте, да не в обиде.

Раньше на камбузе было тепло, электрическая плита поддерживала нужную температуру даже в сильные морозы. Но уже через неделю после выхода из Мирного камбузная электростанция, работавшая на бензине, вышла из строя: двигатель гнал масло, оно горело, и в помещении вечем было дышать. Пришлось вместо электрической плиты ставить газовую, а на большой высоте пропан сгорал не полностью, и камбуз приходилось часто проветривать. К тому же после пожара баллонов с газом оставалось в обрез, и газ следовало экономить. И если в пути камбуз получал тепло от двигателя тягача, то на стоянке в помещении было холодно и неуютно. Когда Сомов глушил двигатель, камбуз быстро покрывался инеем, и на потолке образовывались сосульки. Температура, правда, ниже нуля не опускалась, но никто не раздевался, и даже Петя, несмотря на свою крайнюю, чуть ли не анекдотическую аккуратность, не снимал рукавиц, а белый халат надевал поверх каэшки.

Несмотря на это, ужин обычно проходил оживлённо. Знали, что не масло и соляр сейчас греть пойдут, а себя в спальных мешках — на семь законных и долгожданных часов. В эти часы человек принадлежал уже не походу, а самому себе, своим близким, которых, если повезёт, можно увидеть во сне. И настроение за ужином поднималось па несколько градусов.

— Сегодня ели молча. За сутки поезд прошёл шесть километров, но люди так вымотались, что говорить никому не хотелось.

Большую часть ночи меняли шестерню первой передачи у Сомова... Обычно шестерни эти летели на пути к Востоку, когда каждый тягач тащил за собой груз тонн в пятьдесят. По ледяному куполу гружёным тягачам положено идти на первой передаче, а это значит, что её шестерня находится в работе значительно больше времени, чем предусмотрено расчётом, и, следовательно, быстрее изнашивается. Гаврилов и Никитин несколько лет назад представили докладную записку, обосновывая необходимость особой обработки этой шестерни для антарктических тягачей, но бумага та, видимо, попала в долгий ящик.

А менять шестерню в условиях похода было делом до крайности кропотливым и мучительным. Следовало снять облицовку и радиатор, отсоединить коробку передачи от планетарного механизма поворота и от двигателя, вытащить её, весом в полтонны, на божий свет, снять крышку, сбить с вала шестерню и заменить её новой. И проделать все операции в обратном порядке.

Восемь часов меняли, будь она проклята! И то спасибо Тошке, — не будь Тошки, на ремонт ушло бы суток двое. Походники — люди крупные и сильные, но это несомненное достоинство превращалось в свою противоположность, когда требовал ремонта главный фрикцион. А маленький и юркий Тошка раздевался до кожаной куртки, ужом заползал в двигатель, словно в спальный мешок, сворачивался там калачиком и орудовал ключом, а пальцы шплинтовал с ловкостью фокусника. «Мал золотник, да дорог!» — не дожидаясь похвалы, восторженно отзывался о себе Тошка, когда его вытаскивали за ноги, силой расправляли и уводили греться.

А детали все были тяжёлые, стальные, и не каждую сподручно поднять артелью.

Коробку передач — ту Валера вытаскивал краном своей «неотложки», шестерни и облицовочные щиты поднимали руками, а двадцать — тридцать килограммов на куполе при морозе на все сто тянут. Без рук, без ног остались, полумёртвые притащились на камбуз, даже Ленёшка Савостиков в тамбур забрался с третьей попытки. Никто не смеялся над Ленёшкой — поработал он побольше крана.

Спасли тятя, а за ужином молчали, в непривычной тишине сидели, сосредоточенно глядя каждый в свою тарелку, и пронизывало эту тишину какое-то напряжение. Ухом старого солдата уловил его Гаврилов. Наэлектризованная тишина, плохая, подумал он, будто перед артналётом. Заметил, что вилка в руке Сомова подрагивает, задерживается у самого рта, словно Сомов хочет что-то сказать и никак не найдёт нужного слова. На пределе Вася, подметил Гаврилов, исхудал, каёшка висит, как на пугале, борода пошла сединой, это в его-то тридцать пять лет. Понять бы, где он, верхний предел усталости.

— Чего буравишь? — Сомов зло посмотрел на Гаврилова.

Так и есть, угадал — не выдержал Василий. Бывало, цапался с ребятами, однако на него ещё не кидался. Зря, Вася... Как говорит Ленёшка, в разных весовых категориях мы с тобой работаем. Капитан Томпсон рассказывал, что, когда молодым матросом умирал от морской болезни, боцман расквасил ему физиономию — и вылечил. Может, так и было, но у нас свои законы, мы и без мордобоя обойдёмся.

— Давай, давай, — кивнул Гаврилов, продолжая с аппетитом есть макароны по-флотски. — Выговаривайся, раз припёрло. — И скажу! — Сомов бросил вилку на стол. — Слово для прений имеет знатный механик-водитель товарищ Сомов! — выскочил Тошка. — Часу хватит, товарищ механик?

Никто не улыбнулся.

— Чай пить будете? — заикнулся было Петя, но ему не ответили — все неотрывно смотрели на Сомова. — Давай жми, — поощрил Гаврилов, тоже кладя вилку на стол. — Про то, как я поход затеял на твою погибель. Точно?

— Орден на нашей крови захотел получить? — сдавленно крикнул Сомов.

Мёртвое молчание повисло над камбузом.

— Все так думают? — спокойно спросил Гаврилов. — Что ты, батя, — подал из угла голос Давид. — Разве можно, батя... — Орденов у меня шесть штук, не нужно мне седьмого, Вася. — Это не ответ! — вставил Маслов.

Так, отметил Гаврилов, Сомов и Маслов — уже двое.

— Я кого неволил? — проговорил он пока все ещё спокойно. — Силком за собой тащил? Отговаривал, кто хотел лететь? — Ну, глупости сделали. Не полетели, угрюмо сказал Маслов. — Пошли с тобой. Нам друг с другом юлить ни к чему, не один пуд соли вместе съели. Ответь людям, батя. — Зачем на смерть повёл? — уже не крикнул, а скорее простонал Сомов. — Ну, сам на ладан дышишь — твоё дело, потешил свою командирскую спесь. А за что меня погубил и этих сопляков? За что, — яростно ткнул пальцем в покрытые заиндевевшим стеклом фотографии детей, — их сиротами сделал?

— Не хотел говорить, а скажу, — решился Маслов, теперь всё равно. Знаете, что Макаров на Большую землю радировал? — «Поезд под угрозой гибели» — радировал!

— Из-за, тебя, красной, остались! — набросился на Валеру Сомов. — «Не огорчайте батю, ребята, пошли вместе...» Распелась канарейка! Вот и пошли... Выхаркивай теперича лёгкие, чтоб батя не огорчился!

Валера прикрыл рукой глаза.

— Подонки, ты, Вася, — сплюнув, сказал Игнат. Думал, просто жмот, а ты ещё и подонки! — За подонка — знаешь? — Сомов рванулся к Игнату и затих, прижатый к месту тяжёлой рукой Ленёшки. — Драться не дам, я с Игнатом согласный, — хмуро сказал тот. — Куда мне драться... — Лицо Сомова скривилось, голос дрогнул, перешёл в шёпот: — Подохнуть бы спокойно... — Все высказались? — тихо спросил Гаврилов.

И, подождав мгновение, взревел:

— Эй, ты, мокрица, протри глаза, слез на дорогу не хватит! Разнюнился... баба! Слюни

распустил... На тот свет собрался? Туда тебе и дорога, живые по такому сморчку плакать не будут! — И свирепо повернулся к Валере: — Зачем их уговаривал, кто разрешил?! Пусть бы улетели к чёртовой матери, чем гирями на ногах висеть! Молчать, когда начальник поезда говорит! (Все свирепея.) Да, виноват — баб в поход взял! Зачем свой троллейбус бросил, если кишка тонка? (Сомову.) А ты чего писал «с благодарностью принимаю приглашение», когда знал, что я не в Алушту собрался? (Это Маслову.) Тьфу! Я вам дам помирать, на том свете тошно будет!

Перевёл дух, бешеным взглядом обвёл притихших людей:

— Чего носом стол долбишь? (По адресу Леньки.) За девками бегать легче, чем по Антарктиде ходить? А вы? (На братьев.) Полудохлый тюлень веселее смотрит! Зарубите себе на носу каждый: помереть никому не позволю. Пригоним хотя бы полпоезда в Мирный — ложись и помирай, кто желает. Тебя, Сомов, отстраняю от машины, сдай Жмуркину Антону. С тобой, Маслов, разговор особый. Всем пить чай и располагаться на отдых.

— Не вставайте, ребята, сам разолью, — заторопился Петя. — Пейте, ребята, пока горячий.

— Раз пошла такая пьянка... — сбивая напряжение, пошутил Алексей Антонов, — разреши, батя, каждому по сигарете.

Закурили, молча и с наслаждением подымили.

— Ты главное ответь, — поднял голову Сомов. — Когда с Востока уходили, знал или не знал про солярку?

— Не знал, Вася, честно говорю, — ответил Гаврилов. — А если б знал...докурил до пальцев сигарету, загасил в пепельнице, жестяной крышке из-под киноленты...— всё равно пошёл бы!

— Один? — недоверчиво спросил Маслов.

— Один в поле не воин. — Гаврилов взял протянутый Валеркой окуроч, благодарно кивнул, жадно затянулся. В походе одному делать нечего. С Игнатом пошёл бы, с Алексеем, с Давидом, с Валерой. «Коммунисты, вперёд!» — как когда-то на фронте... И Ленька небось посовестился бы дядюшку, почти родного, бросать. А может, и ещё кто.

— Как главный фрикцион или коробку менять, все бегают, орут: «Где Тошка? Куда задевался Тошка?»-затараторил Тошка. — А как в кино идти или пряники жевать, про Тошку никто ни ползвук!

— И Тошка, — серьёзно добавил Гаврилов. — Нельзя было, сынки, не идти в этот поход... Был у меня кореш — комбат Димка Свиридов, два года рядом провоевали, сколько раз друг друга из беды вытаскивали — и счёт потерял. Да такое никто на фронте и не считал, там, как и у нас в полярке, выручил друга — и знаешь: завтра он тебя выручит. Так я вот к чему. Зимой сорок пятого Вислу форсировали, нужно было до зарезу с тыла прорваться к деревне. Гаврилов рукой сдвинул посуду и при помощи вилок показал, как располагались стороны. — А с тыла, вот здесь, по разведанным, то ли было, то ли могло быть минное поле. Времени в обрез, не возмём деревню, посередине которой шло шоссе, — сорвётся операция. Сподручней всех заходить в тыл было свиридовскому батальону, а Димка, мы ушам не поверили, стал тянуть резину: так, мол, и так, машины не в порядке, личный состав неопытный, боеприпасов недокомплект... Что на него нашло, никто понять не мог. Другой батальон с тыла бросили. На минах три танка потеряли, остальные прорвались, взяли деревню... А со Свиридовым я до конца войны не здоровался, на разу руки не подал. Не знаю, где он сейчас, чем командует...

— Поня-ятно, — протянул Игнат.

— Не хотел, сынки, чтоб вся Антарктида плевалась в нашу сторону, если б на следующий год Восток закрыли, — закончил Гаврилов. — Я-то что, я уже на излёте, а вам жить да жить да людям в глаза смотреть...

На камбузе с каждой минутой холодало, под казшки лез мороз.

— Полаялись и забыли, батя, — с извинением проговорил Маслов. — Не из капрона нервы, сам понимаешь. И помирать опять же никому не охота. — Не помрём, — сказал

Давид. — С Комсомольской дорога под горку пойдёт, полегче будет. — Факт, — поддержал Алексей. — Морозы ослабнут, повысится и давление воздуха и количество кислорода в нём. — Выйдешь на улицу, — размечтался Тошка, — а там сущая чепуха: минус пятьдесят. Сымай кальсоны и загорай!

Растаяли, заулыбались.

— Как вернёмся, — продолжал мечтать Тошка, — соберу пингвинов штук тыщу, расскажу им лекцию про поход. А если кто каркнет, что брешу, — перья из... повыдергаю!

На этот раз не выдержали, рассмеялись.

— Все, Давид, — вытирая слезы, пробормотал Валера, — побаловал тебя, и баста. Тошка, собирай чемоданы — и домой!

Тошка вопросительно взглянул на Гаврилова.

— Пойдешь вместо Сомова, — ещё раз повторил Гаврилов. Сомов хрустнул пальцами.

— Ну, батя, вылез из оглоблей, было такое... Только машину сдавать не принуждай, рано списывать меня: в пассажиры, пригожусь...

— Сдашь, — проговорил Гаврилов, — на одни сутки. Отдохнуть тебе надо, Вася.

— На сутки — другое дело, — обмяк Сомов. — А то «сдай машину», бог знает, чего подумаешь.

— Кончен бал. — Гаврилов поднялся. — По спальням!

И все разошлись «по спальням». Дежурные разожгли печки-капельницы, салон «Харьковчанки» и жилой балок быстро прогрелись, а в тепле раздеваться одно удовольствие. Залезли в мешки с пуховыми вкладышами, глаза сами собой закрылись, Светало. Понемногу выплывал из тьмы жёлтый диск, окрашивая в нежно-розовые тона снег и часть небосклона, а позади, где-то над Южным полюсом, густел темно-синий занавес. И оттого солнце казалось не настоящим, а бутафорским, словно осветитель в театре баловался своим искусством. Лучи были косые, на все пространство их не хватало, и на теневых участках снег казался то изумрудным, то красноватым. Но так продолжалось недолго, часа полтора. А потом, по мере того, как солнце пряталось, нежно-розовые тона превращались в багровые, с каждой минутой темнея. И вскоре на почерневшее небо выплыли луна и звезды.

Однако люди ничего этого уже не видели. Точнее, видели, и не раз, но не сейчас, а в прошлые походы, когда шли днём, а спали ночью.

Поезд спал. Утихли двигатели, умолкла рация, и лишь слегка посвистывал ветерок, чуть взметая снежную пыль.

Так спит пружина, пока её не натянут. Но пружине легче, она стальная, а люди сделаны из плоти и крови.

ВАСИЛИЙ СОМОВ

Сомов заснул в тишине и проснулся от тишины. Выглянул из мешка — никого. Тело протестовало, требовало покоя, ношено всегда протестует и требует, к этому Сомов давно привык. Жаль покидать мешок, так бы, кажется, всю жизнь в нём и провалялся. Слава богу, тепло из балка выдуть ещё не успело. Значит, только-только остановились, прикинул Сомов. Проканителишься минут двадцать — будешь лязгать зубами, надевая штаны при минусовой температуре. Вылез. На нижнее шёлковое бельё надел шерстяное, потом свитер из верблюжьей шерсти, кожаную куртку, каэшку — штаны и телогрейку опять же на верблюжьей шерсти, натянул унты, подшлемник, шапку и, запакованный по всем правилам, вышел из балка на мороз.

Первая мысль: утро, сутки проспал, и впереди снова сон, вместе со всеми. Это хорошо.

Глянул — Комсомольская! Полузасыпанный домик, раскулаченный тягач, что ещё в позапрошлом походе бросили, разбитые ящики, разная рухлядь... А цистерна? Круто обернулся, увидел метрах в двухстах цистерну и возле неё людей. Побежал бы, да нельзя здесь бегать, шагом дойти — и за то ногам спасибо. Дошёл, не стал задавать вопросов, потому что увидел, как Игнат вытаскивает из горловины щуп, залепленный густой массой.

Завернул Игнат горловину, спустился вниз.

— Привет, Плевако!

Постояли, понурясь. Жали, рвались на Комсомола скую... Была надежда, и нет её. Гаврилов махнул рукой, пошёл к домику, за ним потянулись остальные. Ни слова никто не сказал. Но — удивительное дело! — думал Сомов о цистерне на Комсомольской много раз и замирал от этих дум, а удар перенёс без горечи, даже равнодушно. Потому что кожей чувствовал: быть и в той цистерне киселю, и потому, что весь выплеснулся во вчерашнем разговоре, и ещё потому, что хорошо выспался и скоро снова ляжет спать на восемь часов. А там видно будет.

Ленька уже откапывал дверь. Молодой, буйвол, здоровый, ничем в жизни не связанный, для себя живёт, позавидовал Сомов. А слабак! Таких Сомов видел не раз и не испытывал к ним уважения. Все хорошо — козлами скачут, а как прижмёт их — слова не выдавишь. Первый и последний раз парень в походе, точно. Мазуры, Никитин, даже этот шкет Тошка — другое дело, тёртые калачи, не говоря уже о бате. Стреляный волчара, битый-перебитый.

Ленька распахнул дверь. На пути к Востоку торопились, в домик не заходили, да и ни к чему было заходить. А теперь все рвутся, может, разжиться чем удастся. Картина знакомая: дизельная электростанция законсервированная, камбуз, в кают-компании стол, стулья, две полки с книгами, стены покрыты толстым слоем игольчатого инея. Никитин — к полке с книгами: Толстой, Флобер! А Сомов — в жилую комнату, к тумбочкам. Открыл одну, вторую... Есть! Стащил рукавицу, трудно гнущимися пальцами пересчитал: двенадцать штук «Беломора». Так-то, брат Никитин, Флобера курить те будешь...

Узнав про такую удачу, перерыли всю станцию, разгребли по углам сугробы — откопали десяток мёрзлых бычков... Зато из камбуза с радостным подвыванием вышел Петя, прижимая к груди несколько килограммовых пачек смёрзшейся в камень соли. Тогда только походники и узнали, что соли у них оставалось от силы на неделю.

Вот и все, больше до Мирного жилья не увидишь...

За ужином о цистерне никто не вспоминал — бату щадили и нервы свои берегли. А думали о ней, по глазам было видно. А глаза-то у всех ввалились, носы острые, губы серые — краше в гроб кладут. Хотел Сомов спросить, как перегон дался, но смолчал: и без слов видно, что по уши нахлебались, пока он сон за сном смотрел.

Поужинали, растопили кафельницу, улеглись. Сомов привычно расслабился, ожидая, что сию же секунду мозг отключится, но не тут-то было, сна ни в одном глазу. Оглушительно храпел Тошка, посапывал Ленька, беззвучно, Как мёртвые, лежали Валера и Петя, а Сомов все бодрствовал. Капельница прогрела бак градусов до тридцати, стало жарко. Машинально выпростал из мешка руку, чтобы достать «Шипку», и шёпотом выругался. Хотя бы одну «беломорину» заначил, дурак... Курить захотелось до кругов в голове, сладкая слюна заполнила рот, что хочешь отдал бы за три-четыре затяжки. Мысли сосредоточились на камбузной полке, где Петя хранил скудный запас курева, и в мозгу начали возникать варианты, при которых он, Сомов, имел бы законное право пойти на камбуз и всласть накуриться. Но варианты эти были сплошь надуманные, по закону ничего не выходило, а раз так, то лучше про курево не вспоминать. Через четырнадцать часов обед, тогда и подымим.

Сразу засыпаешь — ни о чём не думаешь, во сне все беды проходят, а когда валяешься без смысла и цели, начинают болеть помороженные щеки, нос и кисти рук, стреляет в колене — ревматизм, что ли, начинается, бунтует желудок, вызывая изжогу. Сомов встал, зачерпнул кружкой ледяной натаянной воды из бидона. Прогрел воду у ещё не остывшей кафельницы, проглотил две таблетки бесалола, запил. Изжога прошла, заснуть бы теперь в самый раз...

А в голову назойливо лез вчерашний разговор. Ненужный был разговор, зряшный. Все равно Гаврилов оказался прав.

Сомов выругал себя: сорвался... Лучше всего молчать. В троллейбусном парке его так и прозвали — молчун. В праздники наряды выписывали — молчал, благодарность объявляли — молчал, ругали — молчал. По своему опыту Сомов знал, что молчаливых не то что любят,

а стараются не очень задевать: работает человек — и пусть себе работает, всем кругом польза. А если с начальством спорить, то сегодня выиграешь десятку, а завтра проиграешь сотню.

Обидно, сорвался. В первый раз, а какая разница? Кому самый захудалый тягач подсовывали? Сомову. «Ты, Вася, у нас опытный, ты у вас золотой и серебряный», уговаривали. Кто три дня на Востоке грузы сдавал, соляр перекачивал, пока остальные водители дрыхли без задних ног? Сомов, Всегда так: вкалывать нужно — Сомова зовут, а, премии, грамоты получать

— Иванова, Петрова, Сидорова. Хотя, конечно, бывало и другое. Сомов не без удовлетворения припомнил случай с Гусятниковым, в прошлую экспедицию. Нахрапистый был мужик, громче всех орал на собраниях, Валерку оттирал — к бате лез в замы. «Сомов такой и сякой, — орал, — безынициативный!» А когда на припае у Гусятникова трактор заглох и лёд под ним хрустнул, чуть «медвежьей болезнью» не заболел. Трещина узкая, с полметра, нужно неисправность устранить и вперёд рвануть, пока не разошлась, а выступальщик этот драпанул с машины. Кто трактор и сани с продовольствием спас? Сомов. Тогда батя за его здоровье выпил и на руках носить пообещал. Нам на руках не надо, ноги пока, ещё ходят, ты лучше хорошее не помни, а плохое, забудь. Так нет, запомнит, ввернёт что-нибудь такое, в характеристику, прощай, Антарктида. Садись, Вася, за баранку троллейбуса номер двенадцать и гоняй до одури по маршруту: гостиница «Националь» — больница МПС.

В, который раз подсчитал в уме, что имеет здесь, в Антарктиде. Если все собрать, то раза в два с половиной больше, чем зарабатывал в парке. Ладно, была бы шея, а хомут найдётся... Дойти бы...

Два раза отнимовал — шесть лет забот не знал, нешуточное дело восемь едоков прокормить, обути и одеть одному. Конечно, Жалейке неплохо бы сотнягу прирабатывать, но где ей, с хозяйством еле справляется. Вспомнил разговоры друзей: «Куда махнёшь в отпуск?» — «В Ялту, а ты?» — «Думаю, в Палангу, на машине!» Горько усмехнулся. Он-то вернётся, получают отпускные — и за баранку, да ещё сверхурочные ездки будет выпрашивать. Кружка-другая пива — вот а все удовольствие. Для них, подумал Сомов о товарищах, Антарктида — это почёт, портреты в газетах, борьба с природой... Вам бы столько нужно было, сколько мне, поняли бы, что такое для меня Антарктида...

Не спится, курить хочется, хоть вой. Чёртов Ленька, сунулся тогда в пожар, не мог курево из балка выкинуть, Знал бы такое, первый бы полез.. Хотя вряд ли, Ленька — сам себе кормилец, ему море по колено, красуйся, проявляй геройство. А моим хлеб нужен, не портрет с чёрной окантовкой...

Ещё раз позавидовал Леньке, и заныло под ложечкой: вспомнил Сомов молодого Ваську, неженатого, удачливого. Первая удача — в танковых войсках служил, обучился на механика-водителя. Хотя просился на флот, чтоб тельняшку носить и брюки-клёш, пыль девкам в глаза пускать. Не видать бы тогда Антарктиды как своих ушей, для Гаврилова только танкист

— человек. Но с батей встреча случилась через шесть лет, а до того отслужил, закончил курсы бульдозеристов и завербовался в Братск. Деньги там были неслучайные, как от них избавиться, не знал.

Воспоминание об этих деньгах до сих пор мучило Сомова, как только может мучить тяжёлая и непоправимая ошибка. — Послушался бы умных людей, оставил бы на книжке — горя бы не знал. Так, нет, полгода по Кавказу мотался, пока до копейки не спустил. Правда, на всю жизнь нагулялся, цыплятами табака завтракал, шашлыками обедал, вино дул, как воду. И Жанна... Вообще-то её звали Аней — в паспорте случайно подсмотрел. Ноги длинные, грудь высокая, синими глазищами взглянет — до позвонков пробирает. До последней десятки деньги выжала и хвостом вильнула. Продав часы, купил билет и махнул в столицу — устраиваться. Вышел из поезда, сел в первый же попавшийся троллейбус, прочитал объявление и напрямиком в парк. И заработок неплохой обещали и работа почище,

чем на бульдозере. Поселился в общежитии. Через год женился. Может, и рано было жениться, но уж очень хотелось забыть, вытравить из памяти ту синеглазую ведьму.

А с Жалейкой забыл, вытравил...

Вспомнил Сомов их первую встречу. Ехал в автобусе к приятелю и гости и стал свидетелем смешной сцены: контролёр, здоровенный мужик, выжимал штраф из зайца-студента. Тот хлопал глазами, шарил в портфеле и лопотал насчёт стипендии, что завтра получит, а контролёр, весь светился от радости, что поймал: «Так будем платить штраф, гражданин?» Студент не знает, куда деваться от позора, уже не просит, а стоном исходит. Тут-то Сомов и увидел Жалейку. Простенькая такая, собой нескладная — пройдёшь мимо и не заметишь. Только глаза большие и скорбные, как на картине. Подошла, спросила, можно ли за студента штраф заплатить. Контролёр: «Плати, твой будет заяц!» Покраснела, как малина, заплатила, а тот ухмыльнулся, пошутил плоско и пошёл новых зайцев ловить. Студент приготовился на блокнотике адрес записать, чтоб завтра деньги принести, а она — что вы, говорит, не надо. Шмыг к выходу — и выскочила на остановке.

Сомов за ней. Сто раз удивлялся, какая сила его толкнула, зачем вышел, ведь ехать-то было ещё далеко. Догнал, напросился проводить, слово за слово — в общем, познакомились. В кафе «Мороженое» пригласил, о том о сём рассказал и поинтересовался, почему это она чужой Штраф заплатила.

— Жалко его стало, — ответила. — Тихий он такой, беспомощный.

— Много их, зайцев, — возразил. — Я троллейбус вожу, знаю ихнего брата. Всех не пережалеешь, которые бесплатно норовят.

— Не все от жадности, — тихо таи сказала, будто извиняясь. — Нельзя людей ногами топтать.

— Эх ты, Жалейка! — посмеялся Сомов.

Так и прозвал её — Жалейка.

Чудная девка оказалась, не видел он таких. Штукатур, в общежитии жила, в комнате шесть вертихвосток, в каждая: «Варька, погладь! Варька, отнеси каблук набить!» — кому не лень, все на ней воду возили. Половину заработка отцу с матерью в деревню отсылала да ещё сестричку, что в техникуме училась, кормила, самой только на хлеб да на суп с вермишелью и оставалось. А девка была хоть и не видная собой, а плотная, девки — они воздухом сыты бывают.

Присмотрелся к ней Сомов и решил, что получится из Жалейки верная и надёжная жена. Сыграли свадьбу, парк выделил молодожёнам комнату, начали жить, а добра не наживали. Безответная была Жалейка, робкая, а характер гранитный. «Ты уж меня прости, Вася, но как жила, так и жить буду — по совести». И старикам продолжала посылать, и сестричку кормила, и, Васю своего не спрашивая, его родителям в деревню двадцатку в месяц. Сомов хмурился, выражал недовольство, голос повышал, чтоб понимала, кто в семье хозяин, но верха не взял и покорился. Кореша, с которыми на троих перестал разливать, посмеивались, называли подкаблучником, но Сомов не обижался, зная, что вовсе он не подкаблучник, а проста в глазах у Жалейки есть такая правда, против которой не попрёшь. Ни напиться, ни выругаться, ни человека обидеть не позволяли, с таким укором смотрели, что хоть на колени становись — клянись, оправдывайся.

Вот и получилось, что не он жену воспитал, а она его. Любила своего Васю, ласкала, без чистой рубахи на улицу не выпускала и день за днём, год за годом переделывала по-своему. Научила стариков почтительно любить, семью ценить превыше всего, человека в себе беречь — не только тело, но совесть в чистоте держать.

Заболает соседка, Жалейка ночь у её постели сидит, погорельцы по домам ходят — платье своё отдаст, о стиральной машине: сколько мечтала, дождалась премии — и старикам на сено для Зорьки послала. Эх, Жалейка, Жалейка...

За пять лет двух мальчиков-погодков ему родила, девочку, и все бегают у неё чисто одетые, умытые, любо-дорого смотреть, когда за стол садятся, галчата голодные. Гордое слово — семья, сколько в нём скрыто для человека радости. Смысл жизни — семья!

Ёкнуло сердце: вспомнил про бычка, который, может, ещё лежит в кармане кожаной куртки. Не докурив, Сомов никогда не выбрасывал бычка, а бережно гасил и совал в карман. А вдруг и сейчас там лежит, забытый? В балке уже похолодало, но ради такого водой ледяной дал бы себя облить. Вылез, нащупал куртку, юркнул обратно в мешок, рванул молнию на кармане... Вот он, родной, желанный! Давно уже такой радости Сомов не испытывал, как от этого бычка. Прислушался — спят. Не спали бы — дал бы каждому по затяжке, а раз спите — во сне покурите. Крутанул зажигалку, жадно затянулся, раз, второй, третий — даже в голове зазвенело от облегчения.

И постыдился: нехорошо, не по совести. Проснулся бы кто, увидел, что он курит, бог знает, что бы подумал. И так не любят его, жмотом в глаза и за глаза обзывают, скопидомом. А ты зайди ко мне, посмотри, сколько в доме накоплено?!

Сомов вздохнул. Дорого она обходится, Жалейкина правда, чистая совесть.

Семь лет назад, в гололёд, такая приключилась история. Возвращался Сомов ночью в парк, и в его троллейбус врезалась «Волга». Признали, что водитель троллейбуса ничего не нарушил, а с двоих, которых из-под обломков «Волги» вытащили, вину смерть списала. Вот и вышло, что оказался как бы виноватым в этой беде один человек — Василий Сомов. Не перед судом, к которому он и не привлекался, — перед своей обнажённой совестью. Понял это, когда трех сироток решили определить в детский дом.

Не позволила Жалейка!

Взяли детей к себе. Яблоки зимой покупали, на море летом возили — чтоб жили, как раньше. Полюбили, как родных, заменили отца и мать, не во всем, конечно, потому что родителей вообще нельзя заменить. Но здоровье детям сохранили и детство прожить дали, старшего до института довели. Поневоле жмотом станешь, деньги, брат, у нас считанные...

Ещё пять лет, подумал Сомов, и полегче будет. Заработок Костя в семью принесёт, младших поднять поможет. Как Давид Мазур — не забывает, помнит, помогает.

По анкете — трое детей, по столу обеденному — шестеро... И никто из походников не знает, и пусть не знает, жалеть мы сами умеем, нас жалеть ни к чему. Живым бы вернуться!.. Зря вчера Валеру попрекал, не он от самолёта отговорил — Жалейка отговорила!

Так он лежал и думал. Выспался, покурил, до звонка ещё часов шесть — давно такой удачи не выпадало. Всех вспомнил: жену, своих стариков и её стариков, Витю, Колю, Галку, Зойку, Костика и Леночку, никого не забыл. Стал думать, что кому купит, если живым останется. Жалейке мохеровый шарф на плечи, мальчишкам джинсы и нейлоновые куртки; девчонкам тоже куртки поярче и нейлоновые купальники — это на валюту, в Лас-Пальмасе. А дома — всем новую обувь, а девчонкам — высокие сапоги, Костику для института шерстяной костюм, старикам — отрезы... Сам — за баранку, а семью — в Евпаторию на месяц, пусть жизни радуются.

Вспомнил, что как-то Игнат его спросил:

— Вася, а ты когда-нибудь в жизни смеялся? — Что я, клоун, что ли? — нехотя ответил, хотя вообще мог бы не отвечать на такой глупый вопрос.

Вспомнил же Сомов про этот вопрос Игната потому, что лежал и улыбался — так хорошо ему было думать про то, как обрадуются дома его подаркам и его возвращению.

И с этой улыбкой стал засыпать. Эх, Жалейка, Жалейка, совесть ты моя...

ТРИ ЧАСА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Поезд скрылся за снежной пеленой, и Гаврилов остался один.

Сейчас половина первого. Через полтора часа остановятся на обед и увидят, что он отстал. Ещё полтора часа — на возвращение. А если догадаются отцепить цистерны от «Харьковчанки» и пойти назад на третьей передаче, то минут сорок. Итого три часа либо два часа десять минут. Впрочем, это, наверное, всё равно: больше полутора часов ему не выдержать.

Ночь и снежное кружево отгородили Гаврилова от всего остального мира.

Метель не раз пыталась его погубить. Однажды на мысе Шмидта, налетев внезапно, как разбойничья шайка, она настигла его на пути от аэропорта к посёлку. Тридцать метров в секунду, видимость ноль, одна надежда — диспетчер Татьяна Михайловна вспомнит, что не дождался автобуса Гаврилов и пошёл пешком. Вспомнила, послала вдогонку вездеход. Через несколько лет, уже в Мирном, когда скорость ветра достигла пятидесяти метров, отправился с поисковой партией спасать пропавшего аэролога и чуть было не свалился с ледяного барьера на припай — в последнее мгновение успел ухватиться за леер. А в другой раз на дрейфующей льдине с полчаса вертелся вокруг домика, пока, сбитый с ног ветром, не ударился о дверь — спасся.

Выжить в настоящую пургу и погибнуть из-за никчёмного ветришки пять-семь метров в секунду... Никчёмный, а сделал своё дело: взметнул снег, засеял воздух мельчайшими пылинками, уничтожил видимость.

Был бы у него тягач с балком — «ноу проблем», как говорил американский геофизик, который зимовал на Востоке. Забрался бы в балок, разжёл капельницу и отсиделся в тепле. Значит, допустил ошибку: последний тягач обязательно должен быть с балком.

И ещё ошибку допустил или небрежность — один черт, как назвать: не наладил переговорные рации на первой и последней машинах, понадеялся на ракеты. А все ракеты ушли на фейерверк, салют в честь первого пожара в истории Центральной Антарктиды.

«Многовато ошибок на один поход», — расстроился Гаврилов. Кому-то нужно за них расплачиваться, и справедливо, что жребий этот выпал ему.

Стал решать, как поступить: отсидеться ли в кабине, пока не уйдёт тепло, или сразу разжигать костёр. Конечно, нужно отсидеться. Двигатель остынет минут через двадцать, и в эти минуты в кабине будет плюсовая температура. Ещё с полчаса морозу придётся штурмовать тягач, чтобы проглотить остаток тепла. Значит, покидать кабину следует не раньше чем минут через пятьдесят. И тут же внёс поправку: через сорок, потому что заоченеешь — рукой не двинешь, а разжечь костёр — дело нешуточное, много сил потребуется.

Прикинул план: сначала наломать на куски или распилить остаток горбыля, снести его в колею, намочить тряпку в канистре с бензином и поджечь. Это первый вариант. Второй вариант такой: проделать то же самое, но разжечь костёр прямо в санях, чтобы пламя охватило доски, которых имелось кубометра полтора. Вариант более надёжный, но в этом случае поезд останется почти без дров, разогревать масло и соляр будет нечем. Так что второй вариант отпадает. Вот если бы авария случилась до, а не после Комсомольской, — другое дело, тогда можно было бы разобрать на дрова домик. А возвращаться с этой целью на Комсомольскую — потерять три-четыре дня. Не имеет он, Гаврилов, права на такую роскошь — возвращать поезд назад, когда каждый километр даётся с кровью. Себя, может, и спасёшь, а поезд погубишь — такого не то что Сомов, а Валера и Мазуры не выдержат.

И решил, что пожертвует, самое большее, горбылём и двумя-тремя досками. Тогда дров ребятам, пожалуй, хватит, с учётом того, что километров через двести — триста морозы ослабнут, а на Востоке-1 и Пионерской можно наскрести для костров всякого хлама — разбитых ящиков, вех и прочего. Итак, горбыль, две-три доски и ни одной щепкой больше.

И, пока в кабине было ещё тепло, стал писать докладную:

«Начальнику САЭ тов. Макарову Алексею Григорьевичу 23 марта, 0 ч. 35 мин.

Докладываю, что в двадцати километрах от Комсомольской заглох ведомый мною тягач № 36 с хозяевами.

Предполагаю, что расплавились подшипники коленчатого вала. В связи с отсутствием видимости данное происшествие для экипажа поезда осталось неизвестным. Нахожусь в кабине, которая быстро охлаждается и на исходе примерно часа сравняется температурой с наружным воздухом минус семьдесят один градус (такая температура отмечена сегодня на начало движения в 21 час по местному времени).

Принял возможные меры для предотвращения утечки тепла: забил щели в кабине ветошью и укутался чехлом. После окончательного охлаждения кабины буду разогреваться

работой, а также зажгу костёр из горбыля и двух-трех досок.

Учитывая, однако, что принятые меры могут оказаться лично для меня недостаточными, прошу не винить за последствия экипаж поезда, так как идущий впереди Савостиков никак не мог видеть, что тягач № 36 заглох, так как на 23.30 видимость стала ноль из-за пороши.

Алексей Григорьевич! Синицын не подготовил топливо, отсюда все наши беды...»

Зачеркнул как следует последнюю фразу. Сами разберутся, кто виноват, а то получается, что он, Гаврилов, жалобу сочиняет, а не деловую докладную записку.

И продолжил:

«Григорьич! Начальником поезда назначь Никитина, заместителем Игната Мазура. Если что, друг, не поминай лихом.

Твой Иван».

В кабине стало заметно холоднее. Паста из шариковой ручки не выдавливалась, и Гаврилов достал карандаш.

«И. О. начальника поезда тов. Никитину В. А.

Валера! Поставь Давида замыкающим. Мой тягач брось, сними с него, что надо, а сани пусть подцепит Савостиков. Учти, на сотом километре у зоны трецин вежи занесло, в пургу ни шагу, стой, пока Маслов не проложит курс. Характеристики на всех пиши с Игнатом и обсуди на коллективе. Если никто не вылезет из оглоблей, дай всем положительные. Если на Пионерской сумеете забраться в дом, то на камбузе есть соль и десяток мороженных гусей, точно помню. Ну, бывай.

Гаврилов И. Т.

Сынки! Держитесь друг за дружку — и черту рога обломаете.

Батя».

Все, отписался. Самое трудное осталось...

По тому, как замёрзли руки, державшие карандаш и записную книжку, понял, что температура в кабине опустилась много ниже нуля. Наверно, каждую минуту холодает на градус, а то и на два. Последние, самые трудные строчки — и пора выходить, жечь дерево. Растёр кисть, погрел её в рукавице и стал медленно выводить:

«Катюша, сыночки! Уж такая случилась неудача...»

Глухо заныло сердце, горький спазм перехватил дыхание.

Смерти Гаврилов не боялся, слишком часто за пятьдесят лет она подкарауливала его, и он привык к мысли о том, что рано или поздно звезда перестанет светить. Как и все старые полярники, он никогда не говорил об этом, но знал, что не опозорит свой последний час излишней суетливостью, которая, бывает, перечёркивает все хорошее, что было в человеке при жизни, и надолго оставляет у живых неприятный осадок. «Веселиться в жизни всякий умеет, — говорил комбриг, — а ты сумей весело отдать концы! Умирать, братцы, нужно с достоинством, с улыбкой».

Ну, с улыбкой — это слишком сильно сказано, а с достоинством он умереть сумеет. Не в этом дело. Умереть — это больше не знать и больше не увидеть: не знать, дойдёт ли поезд, не увидеть Катю и мальчишек.

И письмо его — последнее!

Осознав этот факт, Гаврилов решил, что писать письмо не станет. Он не любил возвышенных слов, какими говорят в театре, считал их неискренними и сентиментальными, а именно такие слова и просились на бумагу. К тому же пальцы уже не гнулись, буквы получались корявые, и Катя подумает, что писал он в судорогах. Ни к чему травмировать бедняжку, и без того слезами изойдёт.

Вспомнил, как провожали его пять месяцев назад на причале Васильевского острова. Было ветрено и сыро, ребятишки озябли, и Катюша отправила их в помещение, а сама стояла

внизу и неотрывно смотрела на него, печальная, гордая, все ещё красивая. «Королева у тебя жена, Ваня», — с уважением сказал Макаров. И Гаврилов вздрогнул тогда от этих слов, потому что про себя всегда называл её королевой, владчицей своей жизни, счастьем своим незаслуженным.

И оттого, что никогда, быть может, не увидит больше Катюшу и её рождённых для него сыновей, и заныло у Гаврилова сердце, перехватило дыхание.

«Эх ты, слюняй, — обругал он себя, — нашёл время размагничиваться!»! Пососал валидол, но боль не унималась. Разжевал одну таблетку, другую, прислушался — вроде отпускает. Взглянул на часы: прошло сорок минут. И мороз в кабине градусов под пятьдесят, наверное. Нужно выходить, пока не окончательно сковало суставы и не потеряло чувствительности тело.

Вышел, захлопнул дверцы кабины. Ветришко резанул лицо холодным огнём, пробил подшлемник и шарф, словно бумагу. Но дует, однако, слабее, метра три в секунду, не больше. И видимость кое-какая появилась, снежную пыль прижимает вниз. Это хорошо, но недостаточно. Совсем бы уложило пыль на поверхность — Ленка, обернувшись, заметил бы, что за ним никого нет.

Стремясь не делать резких движений, полез на обрешеченные стальными трубами сани, стал собирать горбыль. Его оказалось немного, минут на десять горения. Горбыль длинный, но тонкий, пилить его, пожалуй, не обязательно, можно и разломать. А вот с досками вышла ошибка, нет здесь полутора кубометров, в лучшем случае кубометр с четвертью. Так что досок трогать никак нельзя. Впрочем, утешил себя Гаврилов, всё равно распилить бы их он не смог. Влез на сани, горбыля наломал и сбросил — и то глаза на лоб полезли, через рот с трудом отдышался.

Подумал, что в прошлом походе запросто бы три часа продержался. Поработал бы хорошенько кувалдой, вбил бы полдюжины пальцев, вот и согрелся. Теперь все, спета песня, укатили сивку крутые горки. Что толку в руках, которыми и сейчас подкову сломаешь, если лёгким не хватает кислорода и сердце не гонит кровь. За три недели похода четыре обморока... А ведь Алексей ещё в Мирном предупреждал: не то у тебя стало сердце, батя, лучше бы тебе в поход не идти. Обругал тогда Лешку, велел помалкивать в тряпочку. Не мог не пойти в этот поход. Снова вспомнил комбрига: «Танкист, который доживает до пенсии, не танкист!» Будто свою судьбу видел генерал: погиб от несчастного случая на испытаниях нового танка два года назад, со всей страны съехались фронтовики почтить память.

Пока стоял, накапливал силы, чтобы вылезать из саней на снег, мороз добрался до костей, и Гаврилов подумал, что хорошо бы сейчас свалиться в обморок и на этом поставить точку. Обругал себя за эту мысль грубой бранью, встряхнулся и полез через решётку. Руки окоченели, а от них сейчас зависело все. Стал сжимать и разжимать пальцы, бить в ладоши, чуть разогрелся и начал укладывать в колее щепки для костра. Вновь выругался: вспомнил, что не смочил в бензине тряпку, а канистра в санях. Пришлось снова карабкаться на сани, сбрасывать канистру и выбираться обратно.

Теперь предстояло самое ответственное дело: следовало снять рукавицу, расстегнуть каэшку, достать из кармана куртки зажигалку и крутануть колёсико. Начал бить правой рукой по дверце тягача, но осторожно, чтобы не повредить костяшки пальцев. Бил, пока в руке не защипало и пальцы не обрели чувствительности. Снял рукавицу, рванул молнию на каэшке, молнию на кармане куртки, выхватил зажигалку и поджёг тряпку. И, не задёргивая пока молнию на каэшке, склонился над вспыхнувшими щепками.

В лицо и в грудь дохнуло живительным теплом, так бы и окунулся в него весь, как в горячую ванну. Хорошо, что догадался сложить костёр в колее, меньше тепла уносит зря. По мере того как огонь угасал, подбрасывал щепку за щепкой, и каждой щепки было жаль, потому что с ней уходило ещё секунд пятнадцать жизни. «Как костёр, наша жизнь угасает», — неожиданно припомнил слова из песни, которую пел под гитару комсомолец Костя Изотов, комроты из его батальона. И Костя тоже не дожил до пенсии, пророчески напел себе: сгорел в танке у самого Берлина, волчонок из гитлерюгенда угодил в бензобак из

фаустпатрона. А было тогда Косте девятнадцать лет.

Задымилась промасленная каэшка, пришлось чуть отодвинуться. Осталось десяток щепок, почти что ничего. Не натопишь Антарктиду двумя охапками горбыля. Что ещё может гореть? О досках не думать, за чужой счёт Гаврилов жить не привык. Чехол от капота, старый комбинезон, что в кабине валяется, годятся, облил их бензином — и в огонь. От копоти и масляного чада драло горло, слезились глаза, но зато тепла тряпье дало много, минут на семь-восемь, даже сосульки на шарфе подтаяли.

Все, догорел костёр, больше жечь нечего. Но угли ещё тлели, и, чтобы это последнее тепло не пропало, Гаврилов лёг на них в колею, уже не боясь того, что каэшка будет дымиться. И это тепло оказалось очень значительным: оно проникло глубоко в грудь, и согретая кровь побежала в ноги, с болью побежала, вознаграждая догадливого Гаврилова мучительным наслаждением.

Но угли быстро остыли, и Гаврилов поднялся. Снегом загасил на рукавицах и каэшке тлеющие места, взял с кузова кувалду и попробовал поработать. После третьего удара задохнулся, бросил кувалду и полез в кабину.

Тело быстро леденело, но руки ещё слушались. Не снимая рукавицы, взял карандаш и крупно вывел на листке записной книжки: «2 часа 03 минуты». Выронил карандаш и не стал пытаться поднять, решил, что остальное люди поймут сами. Попытался было ещё подвигать плечами, побарахтаться, а поняв зряшность этих усилий, лёг на сиденье, сжался, как мог, и стал засыпать.

Сквозь сон услышал Гаврилов колокольный звон и усмехнулся или подумал, что усмехнулся, настолько нелепыми показались ему эти звуки. Минут пять назад он ещё мог бы определить, что это не звон, а грохот. Но способность даже к простым умозаключениям уже покидала Гаврилова, и потому он никак больше не реагировал на замирающие звуки уходящего от него мира.

СИНИЦЫН

Океан разомлел от зноя. Зеленоватая гладь, распоротая форштевнем корабля, вновь смыкалась, обмётывая шов белыми нитками-барашками. Лучи солнца так разогрели океан, что даже летучие рыбы ушли куда-то вглубь, искать прохлады.

«Визе» возвращался домой.

Тропики! Волшебный сон в полярную ночь, рождённый пламенной фантазией, сказка — и наяву!

Когда проходили экватор, разгуливать босиком по раскалённой верхней палубе никто не решался. Изнеженные унтами ступни ног не выносили такого жара, и люди, подбираясь к бассейну, смешно подпрыгивали и по-детски смеялись. Бассейн, сооружённый из обшитых брезентом досок, был небольшой, пять на пять метров, и вода в нём, взятая у океана, всё-таки чуточку охлаждала распаренные тела и давала возможность ещё немножко поваляться на солнцепёке. За неделю отбеленные зимовкой люди загорели до шоколадного цвета, а иные получили серьёзные ожоги.

— Хуже детей! — сокрушался судовой врач. — Ребятню хоть можно выгнать с пляжа, а этих ничем не проймёшь!

Полярники сочувственно слушали призывы врача, мудро напоминали друг другу о вреде солнечной радиации и, наскоро позавтракав, бежали с подстилками на верхнюю палубу — занимать лучшие места. И старпом делал вид, что не замечает цыганского табора на палубе, потому что знал, что перевоспитать таких пассажиров невозможно: слишком долго и иступлённо тосковали они по солнцу. Время от времени старпом приказывал боцману поливать из шланга, «невзирая на лица», и этим ограничивался.

Антарктида осталась далеко позади, и ничто не напоминало о ней в этих благословенных широтах, где вода шелковиста на ощупь, а воздух соткан из солнечных лучей. Ледовый материк и друзья, зимовавшие на нём, находились где-то в другом

измерении, в другом мире. Конечно, пассажиры «Визе» постоянно вспоминали о них, весело поздравляли с праздниками и днями рождения, но настоящие воспоминания и белые сны придут потом, когда будут пережиты первые радости встречи и начнутся будни.

Возвращение, само по себе высшая награда для полярника, состоит из четырех этапов: посадка на корабль а превращение в беззаботного пассажира, недели две тропического солнца, два-три дня стоянки в порту, где можно ступить ногой на землю, вдохнуть аромат зелени, купить подарки и увидеть живых женщин, и — встреча на причале.

У каждого был свой счёт. Одни вели его от того дня, когда «Визе» покинул Мирный, другие — от последнего айсберга, третьи — от перехода экватора, а четвёртые, самые мудрые, берегли свои эмоции до Канарских островов. Вот растают они за кормой, тогда и зачёркивай в календаре десять клеточек. Раньше чего считать, только нервы дёргать.

Но в тропиках вместо двух недель пробыли целых шесть: на подходе к Канарским островам вышел из строя винт, чуть не месяц проболтались на ремонте в Лас-Пальмасе. Так домой хотелось, что и солнце осточертело, и лучшие в мире пляжи (согласно рекламе), и волоокие смуглые красавицы (хотя и не реклама, но и не объективная реальность, данная нам в ощущении). Были бы крылья, так бы и улетел домой из этого курортного рая в свой промозглый, с вьюгой март-апрель.

Эти приплюсованные к дороге четыре недели многих подкосили. Ибо возвращение полярника домой не только сплошной праздник, это ещё и сильная психологическая встряска, сопровождающая любую разрядку. Бывает, что отзимовавшие полярники, главным образом первачки, не выдерживают гнёта ожидания, впадают в чёрную меланхолию; одному мнится, что от него что-то скрывают, другому распоясывает больное воображение запоздавшая весточка из дому. Морское путешествие кажется бесконечным.

Не находил себе покоя и Синицын.

* * *

Забыть — это значит простить самому себе.

Угрызения совести, терзавшие Синицына первые дни, по мере удаления от Антарктиды ослабевали. Он загорал, купался, играл в шахматы и резался в козла, смотрел кино, спал сколько хотел и понемногу забывал о том, что поначалу мучило его. События, ещё совсем недавно заполнявшие всю его жизнь, виделись издали мелкими и незначительными. В кают-компании он сидел на почётном месте — что ни говори, а начальник двух трансантарктических походов, о его ссоре с Гавриловым никто не вспоминал: мало ли из-за чего люди не разговаривают, когда сплошные нелады.

К тому же с Антарктидой Синицын твёрдо решил кончать: и годы, не те, чтобы со здоровьем не считаться, и деньги не такие уж большие, чтобы подвергать себя столь чувствительным лишениям, — он и на Большой земле может иметь не меньше. А раз с полярной покончено, то перевёрнута страничка и забыта.

Но когда «Визе» надолго застрял в Лас-Пальмасе и день за днём стали тянуться в мучительной праздности, Синицын вдруг понял, что сам себя обманывал, рано перевернул страничку.

И все дело было в этих приплюсованных четырех неделях.

Не тем они угнетали Синицына, что продлили и без того постылую дорогу, не тем, что с каждой ночью Даша все больше спать мешала, и не другими фантазиями, истерзавшими многих первачков, — он, как всякий старый полярник, умел ждать с достоинством. Угнетали его эти четыре недели потому, что развеялась надежда вернуться домой до прихода Гаврилова на Восток.

Синицын знал, что сильные морозы начнутся там в марте и только тогда станет ясно, очень или не очень плохо придётся Гаврилову. В глубине души Синицын надеялся, что за шестьдесят морозы не перехлестнут и Гаврилов не заметит, что идёт на слабо разведённом соляре. Ну а если даже и заметит, то матюгнется, облегчит душу и шума большого

поднимать не станет. А если даже и поднимет, то он, Сеницын, в это время будет уже дома. В самом крайнем случае позвонит из Ленинграда бывшее полярное начальство, проинформируешь его и повесишь трубку.

Думал, что в марте будет в Москве, а оказался в Лас-Пальмесе, на корабле, рация которого принимала ежедневные диспетчерские сводки из Мирного.

В них ничего не говорилось о его, Сеницына, проступке и вообще не упоминалось его имя, в них протокольно отмечалось, что морозы на Востоке такие-то и что поезд Гаврилова на пути к Мирному прошёл за сутки столько-то километров.

Но между строк Сеницын читал другое.

Вчера в районе Востока было минус шестьдесят пять, а поезд прошёл двенадцать километров. Сегодня — минус, шестьдесят шесть, а поезд стоит, движения вперёд нет.

Проклятия по своему адресу читал между строк Сеницын!

Днём он по-прежнему загорал, купался, играл во всякие игры, и часы пролетали незаметно. Но когда ложился в постель и оказывался наедине со своими мыслями, время останавливалось. От снотворного пришлось отказаться, после него весь день ломило голову и подташнивало, а другие средства — многокилометровые прогулки по Лас-Пальмасу и вечерние по палубе, тёплая ванная в медпункте перед сном — не помогали. Спал Сеницын мало и плохо, от постоянного недосыпания стал вялым и раздражительным, и даже старые приятели избегали с ним общаться. Поначалу, заметив, что он не в себе, пытались вызвать его на откровенность и даже прямо спрашивали, что с ним стряслось, а потом перестали: не принято у полярников назойливо лезть приятелю в душу.

Никогда раньше Сеницын столько не копался в себе. Перебирая свою жизнь, вспоминал о случаях, когда легко и безнаказанно халтурил, втирал очки. Не хватало запчастей, списывал, бывало, ради двух-трех подшипников почти новую машину, сдавал на бумаге несуществующий котлован, оборудование, которого не было и в помине, выкручивался как мог...

Но раз человек сам себе судья, успокаивал себя, то он сам себе и адвокат. У правды две стороны, и если уж казнить за плохое, то нечего замазывать и хорошее.

Ведь в сорок втором он, не пойдя со своим — взводом на высоту, никого особенно и не подвёл. Не случись с ним солнечного удара (а с годами Сеницын твёрдо уверовал в то, что у него был не просто обморок, а именно солнечный удар), погиб бы на высоте, уложив в лучшем случае двух-трех фашистов. А он остался в живых и к концу войны имел на своём счёту верных два десятка, а то и больше. Правда, двое-трое, им тогда не подстреленные, тоже, верно, не сидели сложа руки, но общий счёт всё равно в его пользу, в этом Сеницын не сомневался. Так что историю с высотой раз и навсегда нужно со своей совести снять.

Приписки на стройках и прочее подобное его не смущало. В тюменских лесах механик-водитель меньше чем за двадцатку в день работать не станет, так что хоть разбейся, а эти деньги ему дай, да и про свою прогрессивку Сеницын никогда не забывал. Экономистом в отряде работала девчонка, только-только из института, глаза голубые, жизнь по кино изучила. Два дня в один конец до поселковой почты добиралась, чтобы начальнику стройки позвонить, разоблачить Сеницына, у которого в отряде «мёртвых душ» больше, чем живых. Начальник поставил Сеницыну на вид, а девчонку перевёл поближе к цивилизации, чтобы не мешала «Чичикову» тянуть дорогу. И дорогу он протянул!

Технику, что на ладан дышала, сдавал сменщикам за хорошую? Верно, было такое, и не раз, А какую ему сдавали? Ты мне — дерьмо, а я тебе — цветок?

Много сомнительных ситуаций перебрал Сеницын и ни за одну себя не осудил — оправдался. Ворочая на стройках солидной техникой, он привык к тому, что и приписки, и погубленная техника, и высокая себестоимость — все ему прощалось за умение работать в суровых условиях, держать в руках капризных, сознающих свою необходимость механиков-водителей.

Но одно дело — большая таёжная стройка, и совсем другое — антарктическая экспедиция с её считанными по пальцам машинами. Сеницын знал, что в экспедиции нужно

перестраиваться, что законы зимовки неумолимы — нет мелочей, в Антарктиде! — знал, но ничего не мог с собой поделаться, потому что чувство ответственности человек лелеет, воспитывает в себе годами, пока оно не проникнет в плоть и в кровь, а уж если это не произошло, то никакие приказы и взбучки человека не изменят: где-нибудь да сорвётся.

И Синицын понимал, что на этот раз он сорвался, и, как ни искал, в истории с Гавриловым не нашёл себе оправдания.

В один из дней, когда «Визе» стоял на ремонте, Синицын достал из чемодана потёртую карту, которая дважды сопровождала его в походах по маршруту Мирный-Восток-Мирный. Он помнил её наизусть и мысленно мог себе представить любую точку «проклятой богом дороги», как ругали её водители в тяжёлую минуту. За эту карту один любитель подобных реликвий предлагал как-то Синицыну транзисторный магнитофон с десятком кассет в придачу, но он, хоть и не был человеком романтического склада, расставаться с ней не желал. Унты, казашку, резиновые сапоги с воздушной прокладкой — все готов был отдать, а карту берег, потому что напоминала она ему о самых трудных и славных месяцах его жизни. Карта была испещрена надписями, пометками, бесценными для тех, кто в них разбирался: «Зона трещин», «Пионерская в пяти километрах справа от вех», «Снег рыхлый, глубина колеи до шестидесяти сантиметров», «Отсюда — развёрнутым фронтом» и прочее.

Синицын разложил карту на столике в каюте и обвёл карандашом надпись: «Зона сыпучего снега».

Здесь был сейчас поезд Гаврилова.

Когда Синицын в последний раз, три года назад, проходил эту зону, морозы достигали пятидесяти пяти градусов да ещё с ветерком. Наглотались холода ребята, как никогда раньше. И Синицын отчётливо помнил, как радовался он тогда, что у него в достаточной пропорции разбавлена солярка. Бережёного бог бережёт: двигатели работали бесперебойно, и пятьсот километров от Востока до Комсомольской поезд лихо пробежал за десять дней.

Гаврилов же за две недели прошёл километров двести и с каждым днём ползёт все медленнее. Вчера он стоял. Синицын немигающим взглядом уставился в карту. Много он в своей жизни халтурил, врал на бумаге и в деле, но никому ещё это враньё и халтура не стоили жизни. Неприятности всякие были, но у кого их не бывает? Убытки можно покрыть, бумажный котлован вырыть, выговор снять. Все поправимо, кроме смерти.

Погибнут, подумал Синицын, как пить дать погибнут, не выйти им из таких холодов на киселе.

И он в этом виноват! Ведь вспомнил же, что не подготовил топливо, вспомнил, а не послал радиogramму, не остановил, не вернул Гаврилова в Мирный!

Синицын впился пальцами в затылок. «Кто бы мог подумать, что будут такие морозы?!» — робко вопрошал адвокат, но судья уже не слышал его... — Виновен!

«Хорошо бы оказаться там, вместе с ними, погибнуть вместе. Проклятый винт, из-за него!.. Узнают, все узнают!» — и другие столь же безотрадные и бесполезные мысли.

Проклятый винт! Нашёл место и время ломаться... Уже две с лишним недели назад он, Синицын, мог быть дома. Нет, не дома, там телефон; посадил бы Дашу в машину и рванул бы куда глаза глядят, чтоб ни одна душа не знала, где он и когда вернётся...

А по «Визе» уже поползли слухи о том, что Синицын чем-то сильно подвёл Гаврилова. Толком никто ничего не знал. Одни говорили: «Нечего валить на Федора, за все годы такого припая, такой разгрузки не было...» Другие: «Чем он раньше думал, до прихода кораблей?»

Больше других знали синицынские ребята, но они держали язык за зубами, догадываясь, что в большой мере разделяют вину своего начальника. Воскобойников, правда, проболтался, что не сменил на старых тягачах прокладки выхлопных труб. Сварщик Приходько на вопрос Синицына, не забыл ли он в новых тягачах выжечь отверстия для стока воды, удивлённо ответил: «А хйба мне кто приказывал?» Но главное — топливо. Про него и ребята не знали, никому в голову не приходило, что их начальник не предупредил Гаврилова о столь важном обстоятельстве.

Накануне выхода «Визе» в море Синицын заглянул в радиорубку, спросил, нет ли чего-

нибудь для него. Спросил — и сразу пожалел об этом: уж очень странно, недоброжелательно посмотрел на него вахтенный радист Пирогов, старый товарищ, с которым Сеницын дважды зимовал в Мирном.

— Ничего, — буркнул Пирогов и демонстративно надел наушники.

— Не с той ноги встал? — обиделся Сеницын.

— Сказал бы я тебе... — пробормотал Пирогов, отворачиваясь.

Сеницын прирос ногами к полу.

— Что-нибудь... с походом?

— Мотай отсюда, не видишь, что ли: «Посторонним вход воспрещён»? — окрысился Пирогов.

— Живы? — только и спросил Сеницын.

— Живы, живы, мотай!

В Лас-Пальмесе Сеницын купил фирменную бутылку коньяка с золотистой, на полбутылки, этикеткой — приятелей угостить, которые догадаются встретить. Но после разговора с Пироговым заперся в каюте, откупорил бутылку и напился — без закуски, вдрызг. Проспал, как убитый, часов двенадцать, опохмелился оставшимся полстаканом, привёл себя в порядок и отправился завтракать.

Когда подошёл к столу, все замолчали. Только Женя Мальков, сосед по каюте, принуждённо пошутил насчёт храпа, которым донимал его всю ночь Сеницын. Шутку не приняли, завтрак не ели, а проглатывали, поднимались и уходили. С других столов доносилось: «Может, им лучше на Восток вернуться?.. На таком киселе и до Востока не дотянешь... А у американцев самолёты ещё летают?.. Вряд ли, в семьдесят градусов лететь дураков нет...»

Семьдесят градусов!

Сеницын бросил недоеденный бутерброд, поднялся. Со всех сторон на него смотрели чужие, осуждающие глаза. Сжал зубы, обвёл взглядом бывших товарищей, быстро вышел из кают-компаний.

А вослед понеслось, впилося между лопаток:

— Плевако!

НОЧЬ НАРУШЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Перед самым выходом с Комсомольской, осмотрев напоследок траки, Ленька заметил, что головка одного пальца чуть вылезла. Товарищи уже разошлись по машинам, и Ленька, воровато оглянувшись, вбил головку обратно — уж очень не хотелось ему сейчас махать кувалдой и ложиться на снег. Часов пять разогревали двигатели, перемазались, устали как черти... «А, бог не выдаст, свинья не съест, на первой же остановке сменю», — подумал Ленька.

Как на грех, шли километр за километром без остановок, исключительно удачно шли, ни разу ещё в этом походе такого не бывало. Радоваться бы, а Ленька совершенно истерзался, потому что мерещилась ему распутившаяся змеей гусеница, длительный ремонт и бешеный взгляд Гаврилова. На двадцать пятом километре остановил тягач, вышел и убедился, что сделал это на редкость своевременно: головка пальца держалась на честном слове, минута-другая — и поползла бы змея. Благословляя свою удачу, Ленька быстро вышиб сломанный палец, вбил новый, зашплинтовал, вылез из-под тягача и замер от нехорошего предчувствия.

Гаврилова не было видно! Может, проскочил мимо? Нет, колея одна, и на ней стоит его, Ленькин, тягач. То, что Никитин не просматривается, это понятно: он уже далеко, где его увидишь в такую погоду. А почему нет дяди Вани? На мгновение Ленька заколебался: может, догнать поезд, взять с собой напарника, но вспомнил, что батин тягач без балка, и, не раздумывая больше, развернулся и понёсся назад на третьей передаче.

Так механик-водитель Савостиков за несколько часов нарушил сразу три заповеди:

двинулся в путь с повреждённым траком, в одиночку погнал тягач по Антарктиде и, не получив на то разрешения, вёл машину на третьей передаче.

— Не будь ты такой здоровый, — сказал потом Игнат, — я бы тебе за первое нарушение набил бы морду. А за второе и третье дай я тебя, друг, поцелую.

Вслед за Игнатом Леньку хлопали по плечу и обнимали остальные ребята, а он счастливо улыбался, понимая, что именно с этой минуты окончательно принят в их среду. И глаза его увлажнились, второй раз за три проклятые недели, но тогда Ленькиного позора никто не видел, а сейчас эта немужская слабость никого не удивила, потому что из спального мешка, в котором лежал батя, доносился богатырский храп.

Выжил батя! Покоиться бы ему сейчас замороженной мумией на хозсянях, опоздай племяш на несколько минут. Но Ленька не опоздал. Он до сих пор не мог понять, как это у него не лопнуло сердце, когда он выволок из кабины шестипудовое тело Гаврилова и тащил к своему тягачу. Сам чуть сознание не потерял. Растормошил, растёр его и, полуживого, довёз до «Харьковчанки», которая неслась навстречу, а там уж Алексей промассировал батю со спиртом, заставил выпить стаканчик и с помощью ребят засунул в спальный мешок. Спать батя ругался, не хотел залезать в мешок и даже двинул кулачищем Бориса Маслова в челюсть, но потом присмирел и быстро уснул.

И тогда наступила разрядка. У кого что болело и ныло — все забылось, все беды отступили перед лицом предотвращённой беды. Спирта у Антонова было мало, всего литров шесть, Гаврилов категорически запретил расходовать без крайней надобности, однако сейчас были особые обстоятельства. Алексей вытащил канистру и мензуркой отмерил каждому по сто граммов. Выпили за батино здоровье и Ленькину удачу, закусили остывшими бифштексами и не разошлись, остались сидеть в салоне «Харьковчанки» — пятеро за столиком, остальные на двухъярусных нарах. Ревел на малых оборотах, нагнетая тепло в салон, мотор «Харьковчанки», но привычные к грохоту уши походников вылавливали из него слова, как радисты морзянку из беспокойного эфира.

Разомлели в тепле, отвели в разговоре душу. Вспомнили Анатолия Щеглова, который в десяти километрах от Мирного, перед самым возвращением домой — «Обь» уже стояла у барьера! — провалился на тягаче в ледниковую трещину и упокоился в ней, избежав тлена: вечно молодой в извечном холоде. Вспомнили Ивана Хмару и Колю Рощина, всех других товарищей, которые навсегда остались в Антарктиде, и опять нарушили — по двадцать пять граммов выпили. И тут же в третий раз: каждый выкурил не положенную половинку, а целую сигарету. Только в салоне доктор никому курить не позволил, выгонял в кабину.

Отошли, стряхнули заботы. Посмеялись над Борисом, у которого щека под бородой набухла так, что он не говорил, а невнятно мычал, ещё раз поудивлялись Ленькиной силище — на куполе и втроем сто килограммов поднять — рекорд, а он один! С уважением пощупали железные Ленькины бицепсы и пришли к выводу, что из полярников только сам батя имеет такие.

Гаврилов храпел, беспокойно ворочаясь во сне.

— Помнишь, как генерал о нем рассказывал? — спросил Валеру Игнат.

— После чая? — подмигнул Валера. Давид рассмеялся.

— Брось трепаться, — недовольно проворчал Игнат.

— А что там был за чай? — профессионально поинтересовался Петя Зади—рако.

— После того как батя выступил в нашей части с лекцией, — охотно на—чал Валера, не обращая внимания на протесты Игната, — мы все трое пода—ли рапорт насчёт характеристики и попали к самому генералу. Усадил он нас, велел принести чай, стал спрашивать о том и о сём и вдруг как гаркнет: «Ты что меня грабишь, шельмец?» Оказалось, Игнат со страха шесть кусков сахара в стакан положил и потянулся за седьмым.

— Четыре и за пятым, — возразил Игнат.

— А Игнат, — со смаком продолжал Валера, — вскочил и диким голосом заорал: «Разрешите обратиться, товарищ генерал! Это я от волнения, товарищ генерал! Я вообще, если хотите, могу пить несладкий, товарищ генерал!»

— Врёшь! — схватился за голову Игнат.

— Слово в слово! — простонал Давид.

— И нам так рассказывали! — подхватил Тошка. — Весь полк ржал. Только я не знал, что это про тебя!

— Ты вообще помолчи, пацан! — набросился на него Игнат. — Ты тогда ещё арифметику в школе учил!

— Мы люди маленькие, мы можем и помолчать, — с деланной обидой ответил Тошка. — Только правду не скроешь, она пробьёт себе дорогу через разные там несправедливости и случайности, как луч солнца пробивается через зловещую тьму. Каково?

— Поэт! — ахнул Алексей. — Шота Руставели!

— Рассказывай дальше, — напомнил Ленька.

— Про дело рассказывай, — сердито потребовал Игнат. — А то понёс чепуху, уши вянут.

— Ладно, — ухмыльнулся Валера, — перехожу к Давиду. Чтобы показать, что он тоже не лыком шит, Давид вытащил из кармана пачку «Памира», осыпав при этом стол трухой, и протянул генералу: закуривай, мол, братишка, не стесняйся, здесь все свои. Генерал крикнул и в свою очередь предложил «Казбек»; Давид тут же сунул «Памир» обратно в штаны, радостно запустил лапу в генеральскую пачку, вытащил три папиросы и раздал нам. Потом уселся поудобнее в кресле, закурил и брякнул, что генерал, наверное, много знает о Гаврилове, а у него, Давида, как раз имеется час-другой свободного времени, что бы послушать, — примерно в этом роде. И генерал вместо того, чтобы приказать нахалу выдраить танк вне очереди, вдруг начал рассказывать... Давид, у тебя память, как у магнитофона, воспроизведи.

— Слушайте и мотайте на ус! — начал Давид, подражая, видимо, начальственному баритону генерала. — Я тогда командовал бригадой, и Ваня Гаврилов был самым лихим моим танкистом, я ему и рекомендацию в партию давал. Понятно? Без всяких «так точно!», молчать, когда начальство говорит! А ты клади седьмой кусок и закрой рот, я не дантист и не собираюсь проверять твои зубы. В конце сорок второго, когда Манштейн пошёл на Сталинград выручать Паулюса, что, как известно, закончилось для Манштейна хорошей трёпкой, Ваня отколол такую штуку. На ничейной земле стояла подбитая «тридцатьчетверка». Немцы к ней привыкли и внимания на неё не обращали. А Ваня в тот день был безлошадным — отправил свой покалеченный танк в ремонт. Насел на нас, уговорил и ночью вместе с двумя своими шлемцами забрался в ту «тридцатьчетверку». Утром, когда немцы пошли в атаку, он пропустил их танки мимо и шквальным огнём уложил полроты автоматчиков. Немцы, конечно, опомнились и разнесли «тридцатьчетверку» в пух и прах, но Ваня и это предусмотрел, отлёживался с ребятами в заранее вырытом окопчике. Как и было договорено, мы тут же перешли в контратаку и не дали немцам проутюжить эту троицу... А в другой раз, летом сорок третьего, устроил Гаврилов такой переполох, что помощник по разведке чуть не рехнулся. Прибежал ко мне, докладывает: «тигры» у немцев бьют по своим! Я ему — поди проспись, а он: «Товарищ генерал, сам с колокольни в бинокль видел: бьют по своим!» Я бегом на колокольню — в самом деле, несутся к Дубровке, где мы стояли, два взбесившихся «тигра», ведя огонь из пушек и пулемётов. Приказываю не стрелять, жду, а у самого голова кругом идёт — надежда появилась. Дело в том, что несколько дней назад в ходе наступления Гаврилов с тремя танками проскочил вперёд, а бригада застряла: комкор приказал подтянуть тылы, иначе мы рисковали остаться без горючего и боеприпасов. Проходит день, другой — нет комбата. Ну, думаю, прощай, друг, товарищ Гаврилов! Но, как выяснилось, поторопился. Танки Ваня действительно потерял, вернее, оставил и замаскировал в лесу, кончилось горючее, и по ночам пехом пробирался к линии фронта. И вот набрёл на два немецких танка: стояли у опушки леса на берегу пруда, а экипажи принимали водные процедуры. Экипажи — в рай, а сами — на «тигров». Славно прошлись километров пять по немецкому тылу и вернулись в бригаду.

Давид перевёл дух и закончил рассказ не генеральским баритоном, а своим обычным

голосом:

— Потом генерал велел нам отправляться в распоряжение и ждать указаний, а когда мы вышли, нас нагнал его адъютант и вручил Игнату личный подарок командира корпуса — пачку сахара. Ничего не переврал?

— А я знаю одного командира, которого батя боится как огня, — заинтриговал всех Алексей.

— Трёшников? Макаров? — посыпались предположения.

— Не угадали. Трёшникова батя очень уважает, с Макаровым они друзья. А боится он только одного начальника... Кого, Ленька?

— Тоже мне загадка! — ухмыльнулся Ленька. — Тётю Катю, конечно.

— Неужто такая шумная? — поинтересовался Сомов.

— Что ты! Она голос повышает, разве что когда по телефону говорит при плохой слышимости. Любит...

— А двигатели-то не приглушили! — спохватился Игнат. — Вхолостую стучат! По коням, братва! Будь здоров, батя!

— Проснётся — начну колоть, — сообщил одевающимся друзьям Алексей. — Одновременно и тебя, Валерка. Встанет у нас батя как новенький.

— Будь здоров, батя!

— Будь здоров!

И вскоре поезд двинулся в путь.

Много нарушений было допущено в эту ночь. Не принял достаточных мер к спасению своей жизни Гаврилов, запретив самому себе жечь доски. Трижды пренебрёг инструкциями Ленька. Выпили в рабочее время — опять нарушение, двигатели стоявших без дела тягачей чуть не два часа на полную мощность работали — ещё одно.

Но все эти нарушения походники простили друг другу, потому что, как говорят бухгалтеры, актив намного превысил пассив.

Батя остался жить, и один этот факт списывал все.

А ещё — окрылённый, с поющей душой, повёл свой тягач Ленька. Набрал, как шутили ребята, материала для диссертации доктор Антонов. Поговорили, покурили, вдоволь посмеялись — в первый раз за обратную дорогу. Правда, у Маслова сильно болела челюсть, но зато в глубине души он надеялся, что Гаврилов станет перед ним извиняться и простит ему, что он проболтался о радиোগрамме Макарова.

Так что все разошлись довольные и восприняли события этой ночи как хорошее предзнаменование.

ПЕТЯ ЗАДИРАКО

Просидели часа два в салоне «Харьковчанки», выпили, закусили бифштексами, а до обеда никто не дотронулся. Сердце у Пети обливалось кровью, когда он выплеснул на снег густой наваристый борщ: так жалко было и своего зряшного труда, и ребят, которые сгоряча не отобедали, скоро спохватятся, что желудки пустые, да будет поздно. Борщ, как на грех, получился на пятёрку, капуста и свёкла хорошо разварились, впитали в себя бульонный сок, таяли во рту. Никогда бы не вылил такой борщ, а что с ним делать? На подобный случай нужен большой термос, в каких, по рассказам, солдатам на передовую обед таскали, а нет такого термоса, не предусмотрен. И кастрюли с герметическими крышками не предусмотрены, потому что во время движения балок трясёт, как в хороший шторм, без плиты специальной конструкции всё равно готовить нельзя — запрыгают кастрюли, как живые. Однажды Петя рискнул, попробовал на ходу готовить, но ничего хорошего из этой затеи не вышло, набил себе синяков да продукты испортил: гуляш оказался на стене, а щи — на полу. Алексей Антонов хотел было запечатлеть эту забавную сцену па киноплёнке, но дело закончилось тем, что он с проклятиями выудил свою камеру из кастрюли с гречневой кашей. Так что пришлось, как и раньше, готовить только па стоянках.

Петя спохватился, что в суматохе забыл согласовать с Алексеем меню на ужин, а если поезд и дальше так пойдёт, без остановок, как в первую часть ночи, то доктора не увидишь. Хотя нет, всё равно «Харьковчанка» замрёт, когда придёт время батю уколы делать, тогда можно будет и согласовать. Ну, а в крайнем случае придётся взять инициативу на себя. Разогрею, решил Петя, мясо из борща, сварю макароны и поджарю яичницу. А батю — котлетки из куриного филе с жареной картошечкой и кусочек балычка для аппетита. Меню для бати Петя продумал заранее и перед началом движения положил размораживаться курицу, а из спального мешка, что в жилом балке под парами, достал шесть крупных картофелин. Картошки уже мало осталось в мешке, всего иуда полтора, и приберегалась она на первое блюдо, но уж очень хотелось батю побаловать таким лакомством — жареной картошечкой. Котлетки, напомнил себе Петя, поперчить, а картошку залить парочкой взбитых яиц. А на третье какао с молоком, всем, кроме Валеры, который какао видеть не может, в детстве перекормили. Валере, как всегда, кофе или чай покрепче, почти одну заварку.

Утвердив эту программу, Петя стал думать, с чего начать. Времени до ужина много, часа четыре, так что спешить некуда. Встал, поморщился от боли в ногах и пожурил себя за то, что перед выходом с Комсомольской постеснялся напомнить Алексею о перевязке. Снял унты — меховые носки из овчины, осторожно размотал сбившиеся бинты, покосился па ступни. Недельку назад страшно смотреть было, а сейчас ничего, заживают. Густо намазал марлю мазью, перебинтовал одну ступню, другую, обулся, потопал ногами — ходить можно. Когда горел балок Савостикова, выскочил сдуру в одних унтах на мороз, и минут за десять так прохватило, что еле в камбуз приполз. И — опять же сдуру — не признался Алексею, сам размораживался по слышанному от кого-то бабушкиному рецепту: сунул окаменевшие ступни в холодную воду. Алексей увидел — за голову схватился. Воду согрел — в тёплой воде, оказывается, нужно размораживаться. Растёр ноги, наложил спиртовую повязку, но всё равно такими пузырями ступни покрылись, что шагу не шагнёшь. Пузыри Алексей удалил, но легче от этого стало ненамного. Полежать бы с недельку, а кто людей кормить будет? В ту ночь готовил Алексей, и вой на камбузе стоял: бифштексы пережарил — зубы не брали, посоленную кашу ещё раз посолил... Доктор он хороший, спас ноги (краешком уха Петя слышал слова Алексея про опасность гангрены), но что касается кулинарии — руки у него не тем концом вставлены. И Петя соскользнул с нар и, крича про себя благим матом, поплёлся на камбуз. Никто его не останавливал, не уговаривал лечь. В походе это не принято; раз поднялся, значит, здоров, больного из тебя делать не станут. Каждому хочется, наверное, чтоб посочувствовали, погладили по головке, но в экспедициях Петя от этого отвык, да и раньше, честно говоря, никто его к ласкам особенно не приучал.

Любил Петя свой камбуз. Не мог бы ходить — приполз бы на камбуз! Не только потому, что сытно и вкусно поесть — главное и оно же единственное удовольствие у походников, но и потому, что нужно было смыть с себя позорное пятно. Петя простить себе не мог, что хотел улететь с Востока самолётом. Почему хотел, знал лишь один Попов. Это он уговорил: если ты, Петя, полетишь, то и все полетят, куда им, мол, в походе без повара. Так что сделаешь доброе дело — и ребят спасёшь, и сам в живых останешься. Батя тогда лишь мельком взглянул и велел Алексею принять камбуз. Лучше бы в морду ударил! Конечно, никакому доктору Петя камбуз сдавать не собирался, но первые дни ходил как оплётанный. Выбрал момент, повинился: «Прости за глупость, батя». Тот похлопал по плечу, улыбнулся. И ребята вроде простили: вначале будто по принуждению разговаривали, а потом снова начали подшучивать, «матерью кормящей» называть.

Петя тщательно вымыл руки, разделал курицу и стал проворачивать филе через мясорубку. Тепло на камбузе во время движения, вздремнуть бы часок, да уж очень трясёт. Это ещё на ровном куполе, а в зоне застрогов такое делается, что привязывайся не привязывайся — всё равно швыряет, как горох в погремушке. Приятель-матрос рассказывал, что у них на корабле подвесные койки, раскачиваются в шторм, как люльки. Но в балке такую подвесить некуда. Плита, стеллаж для посуды, столик, умывальник, два ящика — вот

и весь камбуз, развернуться негде, в два шага перейдёшь. Чистое наказание, когда все собираются, не хотят в две очереди — хоть полусидя, стоя, а вместе. Только в завтрак, перед дорогой, прибегают кто когда сможет. Пока машина греется, заскочил на минутку, поел каши, колбасы, сыру, напился кофе — и бегом.

Петя уложил фарш в кастрюльку и закрепил её в гнезде на плите. Пусть стоит, приготовить батю завтрак теперь можно минут за двадцать, как только доктор даст знать, что батя — снова едок. Алексей говорит: не было бы осложнений на лёгкие и почки, остальное не то что ерунда, а жизни не грозит, успели вытащить батю с того света; уложить бы его сразу в тёплую ванну — почти что гарантия, что через неделю за рычагами бы сидел, но где её возьмёшь, ванну? Беда всегда приходит в неподходящее время и в неподходящем месте... Валере тоже не мешало бы в постели отлежаться, кашель унять.

Перед Гавриловым Петя благоговел, а любил больше всех Валеру Никитина. То есть всех остальных он тоже любил, но не так. Игнат, скажем, иногда мог нагрубить, Маслову трудно было угодить, а Давиду, наоборот, что ни подашь — все съест без разбора, в облизну; Сомов — молчун, а Тошка уж очень балагур; перед Алексеем как-то робеешь, доктор всё-таки, а Ленка хоть и старается, скромничает, а знаменитость свою спрятать в себе не может. Все они хорошие ребята, как братья, и все же такого, как Валера, второго нет. «Походник без страха и упрёка», — с уважением сказал о нем Алексей. Не образованию доктора, не уму его завидовал Петя, а тому, что ни с кем Валера так не разговаривает, как с Алексеем. Любят Валеру все, чистый и справедливый он человек, хотя большим начальником никогда не станет, потому что начальник, как сказал батя, должен, уметь обижать, а разве Валера кого-нибудь обидит? Петя понимал, что слово «обижать» у бати нельзя понимать слишком буквально, но про себя порадовался за Валеру. И не надо всем быть начальниками.

К тому же Петя не мог забыть, что именно Валера его нашёл и отличил среди многих.

Произошло это так. Гаврилов послал Никитина па швейную фабрику — выразить, от имени походников признательность за хорошую одежду. Валера выступил в клубе, рассказал про антарктические морозы, пингвинов, походы, а когда беседа закончилась, к докладчику подошёл худенький отрок с ясными глазами и, краснея от смущения, как девушка, представился:

— Я, извините, повар. Меня зовут Петя Задирако.

— Извиняю, — великодушно сказал Валера. — Ну и что?

— Вот вы рассказывали, что походники едят на обед по большой миске щей с мясом, бифштексов по две порции с гарниром, компота по две порции. А почему так много?

— Кто силён за столом, тот вообще силён, — пошутил Валера.

— Это, конечно, правильно, но не всегда, — подумав, возразил отрок. — Аристократы тоже много ели, особенно дичи и мяса, но ведь работали они мало.

— А ты по происхождению не аристократ? — с улыбкой поинтересовался Валера.

— Нет, — чистосердечно признался паренёк. — Я из детдома.

Обезоруженный Валера долго беседовал с Петей, удовлетворяя его любознательность, а при встрече доложил Гаврилову, что нашёл повара для очередного похода. Гаврилов поехал на фабрику и пообедал в столовой — понравилось. Встретился с Петей, поговорил с ним и, поражаясь скороспелости своего решения, предложил идти в экспедицию. Петя невероятно обрадовался и бросился обнимать Гаврилова, но вдруг помрачнел.

— А на меня не обидятся?

— За что?

— За то, что я столовую бросаю на произвол.

— Наоборот, будут гордиться, — заверил Гаврилов, проникаясь к отроку все большей симпатией. — Не каждая столовая, друг мой, посылает своего повара в Антарктиду.

С того разговора прошло пять лет и два похода. Но хотя Задирако считался уже опытным полярником, даже самые зелёные новички смотрели на него сверху вниз, настолько безобидным и беззащитным выглядел этот долговязый, худой и чудовищно доверчивый взрослый младенец.

Незадолго до начала первого похода Давид спросил у Пети:

— Гульфик получил?

— Какой гульфик?

— Вот тебе и на! — встревожился Давид. — Ну, мешочек из меха, надевается на это самое, чтобы не отморозить. Беги на склад, требуй у Спиридоныча, всем походникам положено.

Степан Спиридоныч, начальник склада, долго не мог понять, что от него требует повар, а сообразив, велел принести заявление с резолюцией заместителя начальника экспедиции Рогова. Петя написал под диктовку: «Прошу выдать положенный мне гульфик на гагачьем пуху. К сему — Задирако» — и понёс бумагу Рогову. Тот, вникнув, сказал, что гульфики кончились, и рекомендовал изготовить своими силами. Весь Мирный побывал в примыкавшей к медпункту комнате, где жили повара, чтобы своими глазами увидеть, как Петя шьёт гульфик. Радисты морзянкой сообщили о чуде на другие станции, и эта история в один день облетела всю Антарктиду.

Когда походники уже вернулись с Востока, при Пете завели разговор, что, мол, с завтрашнего дня вводится такой порядок: в шесть тридцать утра каждый должен являться в кабинет Рогова и докладывать о своём самочувствии. Повозмущались бюрократизмом, но приказ есть приказ, нужно являться. Наутро в шесть тридцать Петя постучался в кабинет заместителя начальника экспедиции. Рогов ещё спал, и Петя постучал погромче, а получив разрешение войти, вошёл и доложил, что чувствует себя хорошо и готов приступить к выполнению своих обязанностей. Спросонья Рогов решил, что это продолжение сна, и что-то промычал. Но когда и на следующее утро повар его разбудил, чтобы доложить о своём хорошем самочувствии, Рогов запустил в него подушку.

Скоро, правда, над Петей подшучивать перестали, потому что он так легко всему верил, что розыгрыш терял спортивный интерес.

Рассказывать Петя не умел. Его окружали умные люди, знающие неизмеримо больше его и умеющие интересно подать свои знания. Петя с уважением их слушал, узнавал много нового для себя и радовался, что ему так повезло. Возвратившись после первой экспедиции домой, он, сбиваясь и путаясь, изложил свои впечатления, и у него получилось, что ничего особенного он не видел. И друзья, которые поначалу смотрели на него разинув рот, быстро осознали своё превосходство и рассказали о действительно интересных и важных вещах: о событиях в столовой, о новом директоре фабрики, который Рыбкину в подмётки не годится, и о прочем.

Когда выпадала свободная минутка и можно было беззаботно посидеть в кают-компании, Пете иногда хотелось поведать товарищам о главных событиях в его жизни. Но он боялся, что события эти покажутся слишком мелкими, что слушать его будут из вежливости, и поэтому молчал. А когда интересовались, спрашивали, то беспомощно улыбался и бормотал что-то маловразумительное. И постепенно все поняли, что в биографии повара не было сколько-нибудь важного и интересного, о чём стоило бы говорить.

А между тем таких событий, как полагал Петя, по крайней мере имелось три. О них, во всяком случае, он чаще всего вспоминал и порою, пытаясь в них разобраться, даже прибегал к благожелательной помощи Валеры.

Ни своих родителей, ни того, какими судьбами он оказался в детдоме, Петя не помнил. Где-то в памяти мелькали смутные воспоминания о женщине, лежавшей в постели, о множестве людей, заполнивших комнату, — и все. Детдом был хороший, и люди в нём работали хорошие, но всё равно, ложась спать, Петя всегда долго лежал с закрытыми глазами и мечтал, что вот-вот придут и скажут, что его нашли. Такие случаи бывали, на его памяти нашли двоих. Может, это были и ненастоящие родители, но те ребята считали, что настоящие, и радовались своей участи, потому что, как известно, самое большое счастье, доступное человеку, — это жить в семье.

И все же о своём детдоме Петя вспоминал с гордостью и любовью, с горячей благодарностью к воспитавшим его людям. Ибо каждый детдомовец, даже если его и не

нашли, уверенно смотрел в будущее, знал: у него будет работа, дом и семья!

Много лет назад, ещё до войны, на большую швейную фабрику, находившуюся по соседству, назначили директором Григория Сергеевича Рыбкина, молодого выдвиженца из рабочих. Это был удивительный человек. Старые детдомовцы вспоминали, как он пришёл и сказал: «Кто это распустил слух, что у вас нет родителей? Голову ему оторвать мало, такому дураку. Мы, швейники, ваши родители, а вы наши сыновья и дочери!»

И с тех пор фабрика стала для ребят вторым домом. Все свободное время они проводили в цехах, праздники справляли вместе с рабочими и на демонстрации ходили одной колонной, каникулы проводили в фабричном лагере, и так из поколения в поколение. Жили жизнью фабрики, пыль готовы были сдуть с её стен, каждый станок знали и каждого человека. Когда в котельной произошёл несчастный случай и трех рабочих обварило, в очередь выстроились — кожу для пересадки и кровь предлагали, отчаянно завидуя старшим, у которых взяли. Чтобы помочь план выполнить, по воскресеньям работали в цехах, из территории цветущий сад сделали, над пенсионерами шефствовали, с малышами в фабричном детсаду нянчились.

В конце каждого учебного года на торжественном собрании в фабричном клубе директор вручал детдомовцам — выпускникам школы трудовые книжки, а потом новичков вели в общежитие, давали каждому костюм, пальто, ботинки и деньги на жизнь до первой полочки, а девушкам, которым нужно больше, чем ребятам, всего вдвойне. Жили бывшие детдомовцы в общежитии, с отдельными комнатами было трудно, и Григорий Сергеич просил — не настаивал и не приказывал, а именно просил — жениться, выходить замуж в своём коллективе, чтобы легче решить проблему жилья. Случалось, конечно, что женились на стороне, но и тогда свадьбу организовывал фабком. А Григорий Сергеич награждал молодожёнов дорогим подарком — столовым сервизом, если оба свои, или чем-нибудь менее ценным, если свой только один. А когда в молодой семье рождался ребёнок, директор привозил коляску с приданым, ложечку от себя дарил на зубок и, узнав предварительно пожелания родителей, давал имя первенцу. Хоть и смеялся, разводил руками, отговаривал — не модное, мол, имя, а что ни мальчишка рождался, то Гришка, в яслях, а потом в детсаду путаница — чуть не половина Гришек.

Не кожу и кровь, не время и силы свои — жизнь бы отдали за фабрику и общего, всеми любимого отца Григория Сергеича. С радостью — к нему, с бедой ~ к нему, за советом и помощью — к нему. На фронт всем коллективом провожали, жене его с тремя детьми дня бедствовать не позволили: с дровами в городе было плохо — свои из общежития доставляли, хлебными и продуктовыми талонами сбрасывались, отоваривали и привозили от коллектива, всю войну обогревали, кормили, одевали и обували отцовскую семью.

В сорок пятом вернулся майор Рыбкин живой, хотя и без руки, а место занято. Три с половиной года заместительница, Вера Ивановна, исполняла обязанности, берегла директорское кресло, а под самый конец прислали нового — не хорошего, не плохого, а обыкновенного, руководителя по профессии. Пришли к нему работники — мужчин почти не осталось на фабрике, войной выбило, — и по-доброму попросили: уходи с миром, Григорий Сергеич вернулся. Новый раскричался, выставил их из кабинета, а они — к секретарю горкома. Подумал секретарь, сказал, что дело щепетильное, ничем новый директор не провинился, не за что его освобождать, повода нет. А была среди женщин бывшая детдомовка Валя Прохорова, разбитная и красивая девка. «Заберите его от греха подальше, товарищ секретарь, — посоветовала, — а не то мы такой повод устроим, что не вы, так жена выгонит!» Смехом началось, а делом кончилось: вернул коллектив Григория Сергеича на фабрику.

И мало-помалу все пошло по-прежнему. Каждый год в детдоме выпуск — и на фабрику. Уходили и в институты и в техникумы, но большая часть так и оставалась в родных цехах. Когда дошла очередь до Пети Задирако, он не мучился сомнениями, потому что призвание своё давно определил. Начал учеником, за старательность и любовь к делу быстро получил самостоятельную работу и стал классным поваром. Отслужил в армии, тоже

поваром, и хотя начальник офицерской столовой сулил золотые горы, не остался на сверхсрочную, а возвратился на фабричную кухню.

К этому времени и произошло одно из тех важных событий, о которых речь шла выше. Петю разыскала двоюродная тётка. Почему она раньше его не находила, Петя не знал: и неудобно было спрашивать, и незачем омрачать таким бестактным вопросом свалившееся на него счастье. Тётка с двумя дочками жила в пяти автобусных остановках от общежития, и раз в неделю, чтобы не докучать нежданно обрётённым родственникам, Петя приезжал к ним в гости. С волнением смотрел семейный альбом, не мог оторвать глаз от фотографии, на которой были совсем молодые, его нынешнего возраста, мужчина и женщина — отец и мать... Себя увидел младенцем у матери на коленях, отца в солдатской шинели, и так незнакомое ему прошлое взяло его за душу, что умыл слезами альбом, а потом ходил лунатиком, работа из рук валялась. Узнал, что отец погиб на фронте, в самом конце войны, а мать ненадолго его пережила, умерла от гриппа в холодную осень. Вещей после них не осталось, не считая коврика, который мать подарила сестре за неусыпные заботы и любовь. Петя подзаянл денег, купил новый хороший ковёр, привёз его тётке и попросил подарить взамен тот самый коврик — уже сильно потёртый. Тётка великодушно подарила, и Петя повесил коврик над своей кроватью, а на него фотографии родителей в рамках.

Так Петя Задирако обрёл своё прошлое, пустил в него корни...

Вторым знаменательным событием стала встреча с Никитиным и Гавриловым. Она произошла вскоре после смерти Григория Сергеича Рыбкина, второго и любимого отца. Семнадцать лет залечивал старые раны, не раз мужественно ложился под нож, чтобы продлить жизнь, шесть операций перенёс, а седьмой не вынес, умер, когда из-под сердца вытаскивали крохотный осколок, величиной с половину горошины. Проводили в последний путь, осиротели. Будь Григорий Сергеич живой, не хватило бы у Пети духа уйти в Антарктиду, потому что директор высоко ценил молодого повара и был бы огорчён его уходом. Умер Григорий Сергеич, и узды как-то ослабли, не очень намного, но настолько, что Петя решился принять лестное предложение Гаврилова. Тем более что семейный совет с большим одобрением отнёсся к такой редкостной возможности, особенно когда узнал, что в зимовку заработок Пети достигнет четырехсот рублей в месяц, не считая бесплатного питания и одежды.

До сих пор деньги не играли большой роли в Петиной жизни. Питался он в столовой, жил в общежитии, одевался скромно — не только потому, что ещё не привык к дорогой одежде, но главным образом потому, что стыдился тратить деньги на себя, когда в детдоме многого не хватало. Бывшие детдомовцы, особенно холостяки, в получки — скидывались и покупали ребятам то аккордеон, то школьную форму и учебные пособия, а то просто ящики с яблоками и сладости. Так что сбережений у Пети не водилось. Другое дело — полярные деньги, которые по расчёту складывались в столь изрядную сумму, что Петин авторитет в семье заметно вырос.

Тётка начала упрекать племянника, что тот приходит лишь раз в неделю, уделяет мало внимания сёстрам, тратит деньги на чужих людей и вообще ведёт себя не по-родственному. Упрёки казались Пете справедливыми. Товарищи, правда, намекали, что тётка могла бы вспомнить о племяннике лет двадцать назад, но Петя, хотя такие намёки его и смущали, старался над ними не задумываться. И само собой получилось, что при оформлении в экспедицию он завёл сберкнижку, написал доверенность на имя тётки и попросил её не стесняться в расходах. Тётка легко дала себя уговорить, всплакнула и на прощание умоляла Петю не забывать о своём здоровье.

Как-то в порыве откровенности Петя восторженно рассказал о своих родственниках Валере, о том, какие они чуткие и заботливые, с трепетом показывал шарф и носки, собственноручно связанные и подаренные ему сёстрами, восхищался тёткой, которая взяла на себя нелёгкую обязанность — распоряжаться его сберкнижкой. Валера хотел было прямо и недвусмысленно растолковать Пете, что наивность должна иметь какие-то границы, но взглянул на голубоглазое лицо этого двадцатипятилетнего ребёнка и от нравоучений

воздержался. Настоятельно посоветовал только срочно вступить в кооператив, купить и обставить квартиру.

Следовать Валериному совету Петя, однако, не счёл возможным, несколько это было бы слишком эгоистично, зачем ему в его годы отдельная квартира? Что скажут друзья, когда узнают, что он задумал от них отделиться? Впрочем, вернувшись домой, он убедился, что денег на сберкнижке осталось немного. Поначалу это его слегка обескуражило, но, поразмыслив, он даже порадовался тому, как умело распорядилась тётка его вкладом: обменяла свою комнату на две, красиво их обставила, со вкусом нарядила дочерей и племянника не забыла: купила ему модный костюм, плащ, рубашки и обувь. На книжке, к счастью, было ещё шестьсот рублей, и Петя без долгих размышлений перевёл их на счёт детдома для покупки пианино. Узнав об этом его поступке, тётка очень обиделась, почти целый год разговаривала с племянником подчёркнуто сухим тоном и окончательно простила только тогда, когда пришло время для серьёзного разговора.

Разговор этот заключался в том, что, мол, Пете пора становиться на ноги и обзаводиться семьёй. Тётка заявила, что она всего в жизни насмотрелась и хорошо знает, какие опасности подстерегают молодого человека на этом тернистом пути. Человека неопытного да ещё и со слабым характером любая вертихвостка может в два счета затащить в загс. Чтобы такого не произошло, она взяла на себя труд позаботиться о Петиной судьбе и подобрать ему невесту.

С этими словами тётка вышла из комнаты и вернулась, ведя за руку потупившую глаза старшую дочь Светлану.

Петя как сидел, так и окаменел на своём стуле. Жениться на Светлане он никак не хотел. Она была пусть троюродная, но всё-таки сестра, к тому же очень некрасива и лет на пять старше его. Да и вообще Петя не собирался ни на ком жениться.

Но тётка, не обращая внимания на то, что племянник онемел, сунула его безжизненную руку в руку дочери и пожелала молодым большого счастья. Потом она что-то говорила, и Петя что-то говорил, по её требованию вяло поцеловал невесту в щеку, посидел, оглушённый, с полчаса и отправился домой в превеликой растерянности.

Приведя в порядок свои мысли, он понял, что тёткин план ему совсем не нравится. С другой стороны, нельзя и обидеть родственницу, которая так искренне желает ему добра. Запутавшись в этих противоречиях, Петя решил, что сам в них не разберётся, и поехал к Валере Никитину. Рассказал ему все, как было.

— Так ты её не любишь? — спросил Валера.

— Почему это не люблю? — удивился Петя. — Родня ведь.

Валера с трудом подавил улыбку.

— А как женщина она тебе нравится?.. Извини за прямоту, ты хочешь... ну, скажем, прижать её к своей груди? Петя покраснел и замотал головой.

— Зачем же тебе тогда па ней жениться?

— Сам не знаю, — вздохнул Петя.

— Тебе неудобно перед тёткой?

— Ага, — обрадованно признался Петя.

— Понятно, — разобрался Валера. — Даёшь мне слово, что сделаешь так, как я скажу? Хорошо. Позвони Светлане, именно Светлане, а не тётке и предложи ей встретиться где-нибудь в кафе. И честно признайся, что ты её не любишь...

— Но ведь я её люблю, — возразил Петя.

— Да, я забыл... Скажи, что любишь её как сестру, и только, и поэтому жениться на ней не можешь. И ещё сошлись на меня: Никитин, мол, консультировался с учёными-биологами, и те категорически возражают против такого брака, так как смешанная родственная кровь вредно отразится на потомстве. Запомнил?

Петя уныло кивнул и отправился домой.

На свидание Светлана явилась вместе с матерью, что сразу же опрокинуло Балерин хитроумный план. Когда Петя сбивчиво перечислил аргументы, тётка сделала вид, что

падает в обморок, и насмерть перепуганный племянник прекратил всякое сопротивление. Было решено сыграть свадьбу осенью, чтобы сэкономить на проводах жениха в экспедицию.

Валера позвонил Гаврилову и попросил срочно приехать, чтобы спасти Петю. Батя прилетел, разобрался в ситуации и под предлогом оформления в экспедицию отобрал у Пети паспорт. Тщетно тётка ходила по разному начальству и жаловалась на Гаврилова, который своим самоуправством разрушает новую счастливую семью, — тот стоял насмерть. Издёрганный, разрываемый на части, Петя так и уехал в экспедицию нерасписанным. Доверенность на деньги он, правда, оставил и пообещал жениться по возвращении. В дороге понемногу отдыхался, уступил, терзаясь, Валериным доводам и под его диктовку написал две радиограммы. Первой он освобождал Светлану от данного ею слова выйти за него замуж, а второй изменял доверенность и поручил дирекции фабрики оформить его вступление в жилищный кооператив. Ответные радиограммы тётки Валера преступно перехватывал и Пете не показал, так что к моменту прихода в Мирный третье важнейшее в Петиной жизни событие перестало быть злободневным. К тому же и времени вспоминать о нем у повара не было, так завертело его в предпоходной сутолоке. Нешуточное дело — подготовить на несколько месяцев питание для одиннадцати человек. Отобрать на складе продукты — сотая часть работы, их ещё следовало превратить в полуфабрикаты. Попробуй отвари мясо в походе, когда вода на куполе закипает при температуре восемьдесят с небольшим градусом. Пять часов будет вариться — не сварится. А сколько газа нужно затратить на такую варку?! Не напасёшься.

Поэтому разные бульоны — мясные, грибные, рыбные — Петя готовил в Мирном. Заливал бульон в ведро, замораживал на свежем воздухе, вносил обратно, вываливал в пергаментную бумагу, упаковывал как следует и относил в холодный склад. Таким же образом заготавливал мясо, кур, рисовую, перловую и гречневую кашу, белый и чёрный хлеб. Работа была адова, и никакого отдыха не предвиделось — подоспел поход. А в походе Петя спал часа на полтора меньше всех — вставал готовить завтрак, в авралах участвовал наравне с товарищами, во время движения трясся в балке, а на стоянках кухарничал и подавал на стол. Алексей помогал как мог: доставал из ящиков на крышах балков брикеты бульона, мяса и каши, заготавливал для воды снег — «закалывал кабанчика», как говорили походники, чистил с Петей картошку (пока он одну, Петя десять) и помогал мыть посуду. Но теперь на Алексея рассчитывать нечего, пока батю не поставит на ноги — на шаг от него не отойдёт...

Скучно сидеть без работы в балке... Все, что можно было сделать в дороге, Петя уже сделал: картошку почистил, фарш приготовил, кастрюли надраил. К Сомову, что ли, в кабину попроситься? Но разговаривать Сомов всё равно не любит, за рычаги не пустит, злой без курева... Петя достал со стеллажа коробку из-под печенья и пересчитал сигареты. Осталось шестнадцать штук на восемь курильщиков. Если даже одну на троих после обеда, только па пять дней хватит. Обедать приходят — глотают, не разжёвывая, лишь бы поскорее закурить. Что будет?!

Петя сокрушённо покачал головой. Припомнил неожиданно, что в левом углу в продуктовом ящике лежит большой пакет леденцов, которые, как известно, помогают курильщикам отвыкать от их вредной привычки. Достал пакет, прикинул: если штук по пять в день давать каждому, может хватить. С сочувственной улыбкой припомнил яростный вопль Игната: «От женщин отвыкли, от бани и кино отвыкли, а теперь от курева отвыкай, трах-трах-тарарах!» Тяжело придётся ребятам...

Подумал о том, что нужно не забыть приготовить клюквенный морс, и потрогал рукой бак. Уже чуть тёплый. Ватина придумка: бак с герметической крышкой, завинченной болтами. На стоянке набьёшь его снегом, подключишь теплоэлектронагреватель — ТЭН от бортовой сети, и получаешь больше ста литров воды. Хватает и на камбуз, и на мытьё посуды, и на морс. Воздух на куполе сухой, носоглотку дерёт наждаком, вот Петя каждому и даёт в дорогу двухлитровую флягу с морсом, вешай её в кабине и пей сколько хочешь.

Тягач дёрнулся, остановился, и Петя пребольно ударился спиной о плиту. Морщась,

стал ждать нового рывка, но его не последовало: наоборот, Сомов чуть приглушил двигатель. Петя обул унты, оделся, вышел в тамбур и приоткрыл дверь. Ни зги не видно, снова низовая метель, будь она неладна. Соскочил на снег, тщательно прикрыл дверь тамбура и залез в кабину.

— Дульник начался, туда его в качель! — выругался Сомов.

И вдруг, рывком откинув дверцу, заорал:

— Куда прёшь?!

В двух шагах слева прогремел Ленкин тягач. Ленка явно сходил с колеи куда-то в сторону. Сомов выскочил из кабины, бросился за тягачом, исчез в снежной пелене, но через минуту вернулся, шаря вокруг руками, к & к слепой.

— Говорил бате: не бери щенка! — усевшись на место, плачущим голосом проговорил он. — Ищи теперича иголку в сене! Сиди! — прикрикнул на Петю, который порывался выйти из кабины. — Ещё тебя потом разыскивай!

— Но ведь нужно что-то делать! — захлебнулся тревогой Петя. — Нужно обязательно что-то делать!

НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ

Позёмка при семидесяти градусах ниже нуля в Центральной Антарктиде — явление редкое и всякий раз вызывает удивление, потому что при сверхнизких температурах природа замирает: недвижим скованный холодом воздух, и снежные частицы мирно покоятся, тесно прижимаясь друг к дружке. Но вдруг устойчивое равновесие нарушается, где-то вздрагивает, просыпаясь от спячки, воздушная масса, и все вокруг приходит в движение: начинают кружиться в феерическом танце оторванные от поверхности снежинки, бритвой прорезает белую пустыню ветер, повышается температура. А через несколько часов словно устыдившись противоестественности своего поведения, природа вновь замирает.

Случается такое не каждый год, а тут дважды за ночь низовая метель!

В ту позёмку, когда Гаврилов чуть не погиб, кое-какая видимость всё-таки оставалась, колею можно было различить, и поезд ушёл вперёд.

Теперь же ветер усилился метров до десяти в секунду, и взметённые в воздух снежинки уничтожили всякую видимость. Водителям пришлось остановить свои машины: колея исчезла, и они рисковали свернуть в сторону и заблудиться или напороться на идущего впереди.

Обидное для походника явление — позёмка, украденная видимость. В двух-трех метрах над поверхностью купола стелется пелена. Заберёшься на кабину — над тобой чистое небо, ясное и безмятежное, и впечатление такое, будто стоишь ты по пояс в снегу. Спускаешься вниз — и полностью теряешь ориентировку в окружающей тебя белой мгле. Осыпай проклятиями природу, но терпи и жди, нет видимости — не искушай судьбу. Сколько будет кружить позёмка — столько и жди.

В низовую метель, по заведённому Гавриловым порядку, водители должны были, не мешкая, собираться в камбузном балке. Это делалось для того, чтобы установить наличие людей и прояснить ситуацию. Покидали тягачи и брели вслепую по колее, добирались до камбуза и с облегчением снимали подшлемники с обожжённых ветром лиц. В этот раз пришли все, кроме Гаврилова да ещё Алексея, который воспользовался остановкой и вводил в батину кровь новокаин и глюкозу.

— Надо искать Ленку, — начал Давид, — машина у него безбалковая, заглохнет двигатель — пиши пропало.

— А как ты собираешься искать? — посасывая пустой мундштук, хмуро спросил Маслов. — Локатор из Мирного затребуешь?

— Щенок! — зло сказал Сомов. — Знать бы, как далеко он поплёр...

— Далеко не мог, — примирительно сказал Давид. — Осознал, что видимости нет, остановился и ждёт.

— Я, к сожалению, в этом не уверен. — Валера покачал головой. — Не в Ленькином характере остановиться и ждать. Боюсь обратного: понял, что заблудился, и шастает в поисках колеи.

— Это уж точно, шастает, — кивнул Сомов. — Силы на рубль, ума на копейку!

— Злой ты, Василий, — неприязненно проговорил Давид.

— Все высказались? — тихо, подражая батиной манере, произнёс Игнат. И, выждав паузу, спросил: — Какие будут предложения?

— Искать, — твёрдо сказал Валера.

— Как именно?

— Пусть Вася решает. В связке, наверно, цепью. Игнат ударил кулаком по столу — тоже батина манера, узнаваемая.

— Так и сделаем! Петро, сколько у тебя капронового шнура?

— Метров двести, — вскинулся Петя, доставая из ящика моток.

— Помёрзнем... — как бы про себя проворчал Сомов.

— Живы будем — не помрём! — отрубил Игнат. — Кто со мной? Ты, Валера, не суетись, Алёшке и без твоих хворей делов хватает. И ты, Петро, ноги побереги... Давид, Тошка...

— Ладно, — буркнул Сомов. — Давай капрон. Только так, Игнат, ты, конечно, почти что начальник, а здесь мне не мешай.

— Командуй! — охотно согласился Игнат, застёгиваясь. — Тебе и карты в руки.

— Двести метров мало, — прикинул Сомов. — Тошка, сгоняй в «Харьковчанку», притащи большой моток.

— Слушаюсь! — Тошка козырнул, натянул подшлемник. — Награда какая выйдет герою-добровольцу? — И, увильнув от подзатыльника, выскочил в тамбур.

— Значит, так. Один конец принайтуем к траку, обвяжемся, нащупаем колею — и гуськом по ней пойдём, я вперёд, и вы трое следом, нет, лучше цепочкой, в шаг друг от друга, чтобы натяжку чувствовать. Ясно?

Слушали внимательно, знали, что в пургу или в позёмку у Сомова просыпается особое чутьё, каким не могут похвастаться даже более опытные и всякое повидавшие полярники. В Мирном Сомов был непременно участником всех поисковых партий, с ним шли охотно, веря в его непостижимый нюх, способность ориентироваться в метель. Биолог Соколов чуть ли не всерьёз доказывал, что Сомов, как пингвин, обладает даром чувствовать магнитное поле, и ребята шутливо уговаривали Василия приняться и определить, где покоится ящик с наручными часами, занесённый пургой ещё в Первую экспедицию. Сомов отбивался: «Будет болтать, пустобрёхи!» — но в глубине души сам удивлялся своему таланту и не упускал случая проверить в деле.

* * *

Настроение у Леньки было замечательное. Он знал и любил в себе эту приподнятость, весёлое кипение жизни в каждой клеточке тела, когда море по колено. Вера в свои силы, в повернувшую к нему удачу окрылила Леньку, вернула ему утраченный оптимизм.

«Ты, Савостиков, как наркоман, — неодобрительно говорил тренер. — Тому, чтоб ожить, нужна ампула, тебе — успех». Такое сравнение Леньку несколько не смущало, тем более что врач-психолог, писавший диссертацию о боксёрах, на примере мастера спорта Савостикова доказывал правомерность этого явления. Только в отличие от учёного Ленька знал, что необходим ему не общий, а именно личный успех, не расплывчатое командное, а индивидуальное первенство. И сейчас оно было за ним. О том, как он, рискуя жизнью, спасал Гаврилова, узнают все — и бывшие приятели, и родные, и Вика. В газетах напишут, не могут не написать! Ещё посмотрим, кто из нас «отработанный пар»! Рано списали Савостикова...

Вспомнил, как товарищи обнимали его в «Харьковчанке», и объективно отметил, что в

их глазах не было зависти. Вот это спортивно, настоящие ребята! Наверное, многие из них на его месте поступили бы так же, но раз жребий выпал ему и он победил, то они честно поздравили сильнейшего. И вновь закружилась голова от мыслей о Вике: он заставит её не только полюбить себя — любили его многие, — но и гордиться им! Ленька стал сочинять в уме текст радиogramмы, которую пошлёт Вике. Рассказывать о себе он не станет, такой человек, как Вика, оценит его скромность, а вот сдержанно, с шуткой сообщить о трудностях похода, о морозах — это можно. Что-нибудь вроде того, что твоё «да» сбросило с семидесяти градусов не меньше двадцати, согрело душу и тело.

...Задувало, начиналась позёмка, и тёмная глыба камбузного балка то исчезала, то вновь появлялась перед глазами. На всякий случай Ленька сократил дистанцию, пошёл метрах в пяти от Сомова. Сомов тоже его позддравил, двух слов не сказал, но обнял, поцеловал. Непонятно всё-таки: зачем дядя таскает за собой этого доходягу? Водитель хороший, спору нет, а в трудную минуту распустил нюни — когда объяснялись на камбузе. Справедливости ради, напомнил себе Ленька, нужно признать, что и сам он выглядел одно время не лучшим образом. Но это, безусловно, случайность и больше не повторится. Никогда и ни при каких обстоятельствах.

Размышляя таким образом и не сопротивляясь наплыву приятных мыслей, Ленька очнулся лишь тогда, когда тягач Сомова исчез в снежной пелене. В этой ситуации положено остановиться и проверить колею, а в случае сомнения дождаться идущего сзади, но Ленька не сделал ни того, ни другого. Решив, что просто отстал, он рванулся вперёд и проскочил в метре от Сомова, видеть которого не мог, так как стекло на правой дверце было запорошено снегом. Надеясь на удачу, а потом на чудо, прошёл ещё сотню-другую метров и понял, что сбился с пути. «Размечтался, тюфяк!» — обругал себя Ленька. «Беда — учитель, счастье — расточитель», — вспомнил он. Верно! Хлебнул горя — чему-то научился, от счастья душа запела — размагнитился...

Мысли запрыгали, смешались. Сначала явилась одна, страшная: а вдруг поезд уйдёт? Она так напугала Леньку, что он чуть было не схватился за рычаги, чтобы развернуться и помчаться куда угодно вослед ушедшим от него людям. Но удержался: в позёмку никуда поезд не двинется, это исключено. Потом другая мысль, тоже очень неприятная: а что, если мотор заглохнет? К Гаврилову-то он успел, а успеют ли к нему? Должны успеть, успокоил себя Ленька, в случае чего такую разминку сделаю, что не вспотеть бы. И решил держаться золотой, высеченной на мраморе заповеди антарктического водителя: «Попал в переплёт — стой и жди».

И держался ещё несколько минут.

Но нервы, содрогавшиеся от напряжения, требовали какого-нибудь действия, а мозг, принявший столь мудрое решение — ждать, не желал заостенеть в этой догме. Обидно было бездействовать, когда перебродившая сила искала выхода, сила, от напора которой дрожали мышцы. Почему, подумал Ленька, они должны искать его, а не он их? Закутался, вышел из кабины и не увидел, а нащупал колею. Мысленно определил угол, на который отклонился его тягач. Возвратился, развернул машину и проехал немного вслепую. Вышел, поползал на четвереньках: нет колеи. Срезал угол, прокатился ещё немного: нет колеи.

Ветер хоть и не становился сильнее, но и не ослабевал. Свистит, сволочь, на испуг берет. Не на такого напал! Ленька страха не испытывал, как часто не испытывают его люди, оказавшиеся в опасности и по незнанию не представляющие себе истинных её размеров. Пургу побеждают не бесстрашные, а опытные, понимающие, когда с ней можно бороться, а когда нельзя. Над не подкреплённой опытом храбростью Север посмеивается, уважает он лишь мудрую предусмотрительность. Много трагедии произошло с теми, кто не знал этого.

Ленька снял со стенки кабины флягу, напился кисло-сладкого морса, привычно потянулся в карман за сигаретами и чертыхнулся. Кровь вскипела — так захотелось курить. И поесть бы в самый раз, по часам скоро ужин. Неожиданно вспомнил, что низовая метель потому и называется низовой, что стелется над самой поверхностью! Полез на крышу кабины, встал — и увидел метрах в двухстах наискосок избиваемый ветром флаг

«Харьковчанки». Радостно засмеялся: вот она, родненькая! Жаль, что флаг только на ней, иначе ребята давно бы его разыскали. Ну, теперь дело в шляпе. Сел за рычаги и медленно, чтобы не врезаться невзначай в чью-либо машину, двинулся в намеченном направлении. Остановился через минуту, залез на крышу и в сердцах выругайся: флаг реял опять же метрах в двухстах, по уже не наискосок, а прямо по курсу. Тем не менее вернулся в кабину повеселевший. Там; небось паникуют сейчас, заседают и совещаются, как его выручить, а он тихонько войдёт па камбуз, отряхнётся и скажет: «Что у нас нынче на ужин, Петя?» Все бросятся к нему обрадованные, а он недоуменно пожмёт плечами: «Подумаешь, позёмка, говорить не о чём!» Очень понравилась Леньке эта эффектная, как в кино, сцена.

Послышался треск, тягач круто вильнул в сторону, и Ленька резко затормозил. Выскочил, нащупал руками лопнувшую гусеницу. Распустилась, змея, нашла место и время! Не могло быть и речи о том, чтобы исправить такое повреждение в одиночку, да ещё вслепую. А ведь не больше сотни метров осталось до «Харьковчанки»! Что теперь делать? Двигатель мерно гудел, в кабине было тепло, позёмка при таком морозе, как говорили, продолжается от силы два-три часа. Может, пересидеть?

Поколебался немного, преодолел недостойную мужика нерешительность. Достал из-под сиденья моток шнура, затянул ремешки на унтах, молнии на каэшке задраил до отказа, поверх подшлемника для страховки обмотал шарф, надел защитные очки и вышел в позёмку. Все предусмотрел! Привязал конец шнура к ручке дверцы, напомнил себе, что к «Харьковчанке» следует идти прямо, никуда не сворачивая, и медленно пошёл в белую мглу.

Все учёл, кроме того, что тягач крутануло на девяноста градусов. И пошёл Ленька не прямо по курсу, а параллельно колее, на которой стоял поезд.

Ветер, казалось, сжижал и без того жидкий. воздух, острые взвешенные частицы пробивали шарф и подшлемник, жгли, словно капли раскалённого металла, унты продавливали чуть ли не до колен сыпучий, невидимый сверху снег. Тяжело идти в метель, выматывает она силы, как самая изнурительная работа, из-за рваного темпа и сбитого напрочь дыхания. Но сил у Леньки было больше, чем у обычного человека, и он упорно шёл, доподлинно зная, что «Харьковчанка» должна быть рядом.

А её все не было и не было, хотя моток размотался чуть ли не до конца. Где-то совсем близко тарахтели двигатели, Ленька шёл на звук, по оказывалось — в пустоту; прислушивался, снова шёл — и снова в пустоту. Вспомнил рассказы, что в позёмку слух подводит человека настолько, что нельзя верить собственным ушам, — резонанс, или «бегущее эхо», или как там это ещё называется.

Остановился, чтобы решить, что же делать дальше. Чуть было не смалодушничал — не повернул назад, к своему тягачу, но взял себя в руки и решил предпринять последнюю попытку. Натянув шнур, как радиус, начал описывать окружность, уже не боясь, а мечтая удариться об угол балка, о железо саней — лишь бы найти поезд.

И вдруг пока ещё безотчётная тревога вползла в Ленькино сердце. Шнур не натягивался! Не веря себе, Ленька осторожно потянул остаток мотка — и не встретил сопротивления. Мороз пробивал до костей, но в это мгновение Леньке показалось, что его прошиб пот. Дёрнул ещё раз — и шнур легко подался рывку. Теперь уже не было сомнений в том, что шнур оборвался.

И страх, безмерный страх загнанного и обложенного со всех сторон зайца, ужас обречённого на неминуемую гибель существа охватил Леньку с такой силой, что он закричал дико и отчаянно:

— А-а-а! Я здесь! А-а-а!

Сомов впереди, а за ним Игнат, Давид и Тошка больше часа ползали то по одной, то по другой оставленной Ленькиным тягачом полузасыпанной снегом колее. Два раза не выдерживали, возвращались на камбуз греться и вновь отправлялись на поиски. В третий раз нашли тягач...

Так замёрзли и устали, что даже не удивились тому, что Леньки там не было. Молча посидели несколько минут в кабине, чуть отогрелись, отдышались. Особенно устал Сомов.

Губы посинели, из горла вместе с выдохом вырывался хрип. Сомов сидел, прикрыв глаза, и Игнат вдруг подумал, что бывал несправедлив к этому человеку. Ну, жмот, молчун — что есть, то есть, — зато работяга безотказный. Худой, не поймёшь, в чём душа держится, а рыскает по снегу проворнее Тошки, сам замучился и всех замучил. Надёжный человек, зря мы на него.

— Посмотри, Тошка, не привязал ли он куда шнура, — не открывая глаз, проговорил Сомов. — Хотя и сосунок, а вряд ли так в метель пошёл.

Тошка кивнул и без всякого паясничанья вылез из кабины. Вернувшись через несколько минут, доложил, что никуда Ленька шнура не привязал.

— Тогда под сиденьем должен быть моток, — поднимая тяжёлые, опухшие веки, сказал Сомов.

Привстали, подняли сиденье. Мотка там не было.

— Раз доставал шнур, значит, куда-то его привязал, — рассудил Игнат.

— Может, конец сорвался?

— К тому и говорю. — Сомов спустился на снег. — Найдём — его, щенка, счастье.

Долго шарили, возвращались греться и снова шарили, пока не нашли. Побрели гуськом, стараясь не потянуть шнур, чтоб случайно не выдернуть моток из Ленькиных рук. Вскоре обнаружили на снегу брошенный моток, но не стали обсуждать эту находку, потому что и так было ясно, что шнур для Леньки стал бесполезной обузой и он его бросил. Шарили вокруг, всматривались в пелену, надеясь различить в ней огромную Ленькину фигуру; по сигналу Сомова меняли направление, чуть расходились, чтобы охватить возможно большее пространство. Около часа проискали, с ног начали валиться, в ушах звенело, и виски разрывались от напора крови.

Леньку нашли метрах в десяти от камбузного балка. Только шёл Ленька не к балку, а от него, и не шёл, а передвигался чуть ли не на четвереньках, падая и поднимаясь. Взяли его под руки, повели, втащили в балок.

Здесь уже помощников было много, но не Леньке они понадобились. Посидел он, бессмысленно улыбаясь замёрзшей улыбкой, позволил Валере и Пете растереть себе помороженные запястья, выпил принесённый Алексеем спирт и пришёл в себя.

А понадобились помощники Сомову. Не он был пострадавшим, и никто на него не обращал внимания, даже сесть ему оказалось некуда. Присел он на корточки, склонил набок голову — и кап-кап: кровь из горла и носа на пол.

Выработался Сомов весь, до последней жилки.

НОЧЬ В «ХАРЬКОВЧАНКЕ»

К утру метель утихла. Люди поужинали, стали готовиться ко сну. Заглушили двигатели, надели на капоты чехлы и затолкали в отверстия выхлопных труб снежные пробки — на случай нежданной пурги. Трубы изогнутые, забьёт их, хлопот не оберёшься, три часа будешь проволокой спрессованный снег выковыривать. А не сделаешь этого, отработанный газ пойдёт в кабину.

В начале апреля день уже мало чем отличался от ночи, но полные сумерки ещё не наступили. Хорошо различались силуэты машин и номера на их стальных боках и дверцах, цистерны, сани...

Как и всегда на стоянках, если снег был не очень рыхлый, тягачи подогнали друг «к другу и построили в шеренгу, а в центре, как пастух среди овец, высилась „Харьковчанка“. Она казалась непомерно огромной, палочка-выручалочка, любимая походниками „Харьковчанка“ под номером 21. Гигант, крейсер снежной пустыни! Без малого тридцать пять тонн металла вложили харьковские рабочие в эту машину. Краса и гордость полярного транспорта! Низкий поклон им за этот бесценный подарок. Тягач тоже ростом не обижен, рядом с трактором — великан, но куда ему до „Харьковчанки“! В неё и входить нужно, как в самолёт, — по трапу, и приборов у неё в кабине как у самолёта, а слева на крыше

прозрачный купол с астрокомпасом, „планетарий“, как пошучивают полярники. Кабина водителя и резиденция штурмана, радиорубка, салон для отдыха, он же спальня, туалет, камбуз — полным-полна коробочка, все здесь разместить — лось, пусть на считанных квадратных метрах, но зато не в каком-нибудь щитовом балке, а в самой машине.

Надежда и опора, страховой полис походника — «Харьковчанка». Заглохнут, выйдут из строя тягачи, но останется «Харьковчанка» — всех приютит, спасёт, привезёт домой. Только она одна и способна на такое — благодаря мощности, размерам, полной своей автономии.

В салоне на верхней полке смотрел первые сны экипаж — Игнат Мазур и Борис Маслов, на нижней похрапывали Сомов и Антонов, и лишь Гаврилов лежал с открытыми глазами — то ли сказался непробудный двадцатичасовой сон, то ли взбодрили инъекции разных стимуляторов и лекарств, на которые не поскупился доктор. Печь-капельницу загасили только с полчаса назад, и в салоне было тепло, градусов двадцать выше нуля. Гаврилов осторожно, чтобы не потревожить товарищей, высвободил из спального мешка замлевшие руки. Пока ещё можно было позволить себе такую роскошь. Мороз быстро пробьёт стальные, с многочисленными прокладками-утеплителями стены и с упорством маньяка начнёт отвоёвывать у жилья градус за градусом. К подъёму в салоне будет минус сорок — пятьдесят, и начнётся привычная канитель. Дежурному нужно вставать и разжигать печку, но он и не шелохнётся: а вдруг кто-нибудь спросонья выскочит из мешка первым? Но чудес на свете не бывает, и под гневным давлением общественности дежурный вылезет в одном белье на лютый холод, быстро оденется, лязгая зубами, и примется за капельницу. А когда температура воздуха в салоне станет плюсовая, поползут из тёплых нор и остальные. К атому моменту дежурный уже забудет про свои муки и станет подначивать того, кому дежурить завтра.

Гаврилов вспомнил первую свою зимовку на дрейфующей льдине и домик, в котором жил с дизелистами и поваром. Тогда дежурств у них не было и первым покидал спальный мешок доброволец, то есть не столько доброволец, сколько гонимый нуждой мученик. Все, конечно, старались перележать друг друга и очень веселились, когда кто-либо не выдерживал и начинал с проклятиями одеваться.

Гаврилов хмыкнул, и Алексей встрепнулся: «А? Что?» — спросонья. Успокоенный, спрятался в мешок, засвистел носом.

На льдине печку топили углём, не сравнить с капельницей — коллективным изобретением транспортного отряда. Взяли пустой баллон из-под пропана, вырезали дверцу и сверху насадили трубку с краном-регулятором, а на крыше установили бак с топливом. Проходя по трубке, капли соляра падали на раскалённый таганок, воспламенялись и давали тепло — за полчаса помещение так нагревалось, что хоть в одном исподнем сиди. Не могли походники нарадоваться на свои капельницы, хотя и не очень любили канитель с золой, и в сильный ветер лезть на крышу и прочищать от снега трубку топливного бака. Но главный недостаток капельницы в том, что нельзя её на ночь оставить безнадзорной. Как-то в прошлый поход оставили, порывом ветра через трубу задуло огонь, а капли продолжали капать на нагретую поверхность и испарялись. Валера проснулся — весь балок в дыму. Ошалел от угара, но догадался распахнуть дверь, проветрил балок. С того случая закалялись оставлять огонь на ночь...

Гаврилов поймал себя на том, что старается думать о чём угодно, лишь бы увести мысли от происшедшей с ним беды. Как страус — голову под крыло, упрекнул он себя. Замкнуть поезд безбалковой машиной, да ещё без рации и ракет! Ну, ракеты, положим, в метель всё равно никто б не увидел, а раз шёл без рации, значит, не имел права рисковать. Мог погибнуть ни за грош и ребят подвести под монастырь — с живых бы спросили... Как застучало в двигателе и резко упало давление масла, сразу понял, что поплавились подшипники. Но ведь знал же, что машину перед походом не ремонтировали, печёнкой чувствовал, что тягач ненадёжный, а пошёл в хвосте. Поздновато тебе, Ваня, на ошибках учиться, годы не те. Выжить-то выжил, да не стал ли обузой?

Вспомнил, как в сорок первом каратели сжимали кольцо вокруг партизанского лагеря.

«Юнкеры» наугад сыпали на лес бомбы, а партизаны, полумёртвые от усталости, многие километры тащили его, беспомощного, на самодельных носилках. Молил: оставьте, братишки, дайте только пистолет и парочку гранат — не оставили, вынесли. Но тогда хоть оправдание перед совестью было — три дырки в груди...

Глубоко вдохнул и выдохнул воздух — грудь тяжёлая, застуженная. Люди придумали вещи удачнее, чем природа придумала самих людей. Бесхитростная лампочка горит в полную силу до самого своего конца. Так бы и человеку: полнокровная, полезная жизнь и мгновенный конец. Верил бы в бога, попросил бы у него; дай месяц здоровья, чтоб довести поезд! Один только месяц, а потом забирай, в ад или в рай, куда хочешь... Глупо, одёрнул себя Гаврилов, забивать голову фантазиями, в строй нужно войти. Так и скажу Алексею: хоть огнём жги, всю шкуру продырявь, но поставь на ноги!

Когда выписывался из госпиталя, майор медицинской службы признался: «Ну, лейтенант, попал ты в историю, о твоём выздоровлении сам Вишневский докладывал на конференции. Чудо, и только! Будешь жить сто лет с таким организмом». Тридцати тогда ещё не было, трое суток мог не есть и не спать, за всю войну ни разу не чихнул... До ста лет почти пятьдесят, на, возьми их и дай месяц, один месяц!

Заметно похолодало. Гаврилов забрался с головой в мешок, прикрыл глаза. Для дела, для здоровья лучше всего бы заснуть, но не спится, тревога гложет. Доведёт ли поезд Игнат? И воля у него есть и голова на плечах, технику любит и знает; всем хорош Игнат как исполнитель... Валера? Цены ему нет как человеку, а характером слабоват, не убедишь его, не докажешь, что добро должно быть с кулаками. Добром любовь завоюешь, но бой не выиграешь... Давид? Второй Игнат, разве что пообщительней, не потянет... Сомову верю, хотя и сорвался до истерики; этот, если возьмётся за рычаги, умрёт, а не выпустит из рук. Но здоровьем слабоват, силёнок мало стало у Васи, и за характер не очень его уважают... Ну, кто ещё? Тошка, Ленька не в счёт, за самими глаз да глаз нужен. Молодец, племяш, вытащил из могилы, но в поход его больше не возьму... Нет, не возьму. Хорошо, конечно, что признался насчёт пальца, который на Комсомольской поленился заменить, но веры Леньке нет: сегодня покаялся, а завтра промолчит. Механик-водитель — это призвание, профессия, а у него, видно, нет такого призвания и не будет. Голова у него ясная, вернётся домой — в институт нужно идти, буду жив — прослежу...

Улыбнулся — вспомнил, как отказывался брать с собой Леньку, а Катя хмурила брови, разводила руками, спрашивала: «Почему, Ванечка? Чем тебе не подходит племянник?» А Гаврилов, уже зная, что вот-вот сдастся, смеялся и говорил: «Сколько лет живу с тобой, Катюша, не видел, чтоб ты из дому вышла со спущенным или перекрученным чулком». — «Не пойму, что ты этим хочешь сказать?» — «А то, что антарктический водитель, как уважающая себя женщина, не выйдет в путь, пока все не подтянет и не подгонит. А твой лоботряс и внимания не обратит, что чулок у него перекручен!» Посмеялись тогда, а ведь не ошибся, как в воду смотрел. И сломанный палец не заменил, и тягач погнал в позёмку, чуть себя и людей не погубил...

Был бы обычный поход — и думать ни о чём бы не думал. Игнат и Валера на пару за любого начальника бы сработали. Лежал бы себе на полке, книжку читал и покуривал... И снова улыбнулся, вспомнил, как ребята порешили, — считали, что он спит и не слышит: «Все сигареты — батя!» По себе знал — от куска хлеба последнего отказаться легче, чем от последней затяжки. Так он и согласится, держи карман шире! Кто не работает — тот не курит. А станут уговаривать, — грудь, скажу, болит, нельзя. Алексей подтвердит.

Гаврилов вздрогнул: коротко прозвонил будильник. Напутал, наверное, дежурный, не туда стрелку подвёл. Оказалось, никто ничего не напутал. На звонок встал Алексей, зажёл свет, оделся, знаком показал — порядок, батя, и стал разжигать капельницу. Когда в салоне стало тепло, поставил Гаврилову термометр и стал готовиться к процедуре. Всадил в каждую ягодицу по шприцу, обмотал пациенту жгутом предплечье и ввёл в вену глюкозу. Прослушал грудь, подмигнул:

— Будешь, батя, плясать на моей свадьбе!

— Не брешь?
— Слово!
— Сколько намотало?
— На, смотри, тридцать семь.
— Лёгкие-то как?
— Вроде чистые, батя, бронхитом отделаешься. Но с неделю продержу, пусть сердце отдохнёт.

— Ну, Лёша, спасибо. Спасибо, сынок.

Алексей загасил капельницу, выключил свет и нырнул в мешок.

Даже косточки хрустнули, кровь весело по жилам побежала! Неделя — это нам раз плюнуть. Если, конечно, Алексей не брешет, врачи — они по должности своей должны вкручивать шарики пациентам: психотерапия. Но если правда, что спас от воспаления лёгких, — век не забуду, первого внука Лешкой назову.

Два слова сказал, а будто воскресил! С пневмонией на куполе делать нечего, здесь от неё и с кислородными баллонами не избавишься. Был в одном из походов случай, когда в районе Комсомольской штурман глубоко застудил лёгкие. Освободили от саней «Харьковчанку», и пробежала она на третьей передаче пятьсот километров за двое суток, а на Востоке штурмана в самолёт — и на курорт, в Мирный. Лето стояло, январь, самолёты летали... Бронхит, безусловно, тоже не сахар, но держится ведь Валера, от звонка до звонка за рычагами сидит. Бронхит не пневмония, с ним и на куполе продержаться можно. Так и сообщить Макарову: никаких больше консилиумов по радио не надо, подремонтируюсь и скоро войду в строй. И ещё попросить Макарова, чтобы ребята из Мирного и других станций радиogramмы присылали повеселее, а то Маслов принимать не успевает, а все одно: «Беспокоимся, думаем о вас, уверены...» Хорошо, конечно, что беспокоитесь и думаете, не сомневаемся в этом и благодарим за это, но пишите, сынки, с настроением и улыбкой.

И Гаврилов, взволнованный надеждой, стал размышлять, как станет жить дальше, если Алексей сказал правду. Уже рисовалась ему заманчивая картина, что он ведёт тягач (сомовский, пусть Вася поедит Ленькиным дублёром, проследит за парнем), мнилось, как во время завтрака будет обсуждать с ребятами итоги прошедшего дня (за ужином не до разбора, глаза слипаются) и прочее. Но тут Гаврилов подумал о том, что каждая минута, которую он не спит, отдаляет его выздоровление. Раз уж придётся дня три не вставать (если бронхит — о неделе не может быть и речи), то нужно спать на полную катушку, набираться сил.

Улёгся поудобнее и, как всегда перед сном, представил себе Катю и сыновей — чтоб приснились. Вот он в воскресенье утром подогнал к дому машину, спросил у ребят, какие у них планы — готовить уроки на завтра или сначала смотаться за грибами, услышал радостный визг мальчишек и увидел Катину смеющееся лицо.

И, боясь упустить видение, заснул со счастливой улыбкой.

ТОШКА

С одной стороны, Тошка давно мечтал о самостоятельной работе и поэтому не пошёл, а на крыльях полетел занимать место водителя на сомовской машине; с другой — одиночества он не выносил и отчаянно скучал. В прошлый раз, когда батя осудил Сомова на отдых, Тошка сманил в кабину Петю и всю дорогу его развлекал, а сегодня повар затеял печь пирог и составить компанию отказался.

— Все равно ведь сгорит твой пирог! — возмущался Тошка. — А я седи один, как ночной сторож, из-за этой кучи золы!

Оскорблённый Петя выставил Тошку из камбуза. Вскоре, однако, у Давида на маслопроводе полетел дюрит, а ещё через час поезд остановил Алексей: делать батю, Валере и Сомову уколы. Кому неприятности, кому удовольствие: пользуясь вынужденными паузами, Тошка отвёл душу, почесал язык. И за обедом, само собой. Но больше до утра поезд не останавливался, — шестьдесят два километра отмахали! — и часов пять подряд Тошка

молчал, как рыба. Сущее наказание для человека, которому и пять минут посидеть с закрытым ртом было мучительно трудно.

— Хоть бы муха какая залетела в кабину! — жаловался Тошка за ужином. — Такую байку вспомнил — чистый мёд, а кому её расскажешь?

— Ну, гони свою байку на десерт, — промычал Игнат с набитым ртом.

— На десерт у меня есть кое-что получше. — Петя расплылся в улыбке и смахнул полотенце с пышного, начинённого клубничным джемом пирога.

— Кушайте на здоровье!

И, зардевшись от похвал, стал разрезать пирог на доли...

— Получше... — ревниво фыркнул Тошка, хватая, однако, изрядный кусок и впиваясь в него зубами. — Духовная пища, дорогой товарищ Задирако, для интеллигентного мужика важнее жратвы. Мыслить надо, дорогой товарищ повар, мозг питать, а не брюхо!

Уяснив по лицам друзей, что Тошка скорее всего шутит, Петя на этот раз не обиделся.

— Будет тебе, зубоскал, рассказывай свою байку!

— Старшину Семенчука из третьего батальона помните? — спросил братьев и Валеру Тошка. — Здоровый, мордатый такой сверхсрочник, «смир-р-на!» с полминуты рычал.

— Ещё бы не помнить! — Игнат ухмыльнулся. — Давида изловил в самоволке, когда он серенаду пел одной смазливой блондиночке. Сколько на губе отсидел? Пять суток?

— Пять суток строгого, — подтвердил Давид. — Так чего натворил мой друг Семенчук?

— Приходит его жена к генералу, — обрадованный всеобщим вниманием, заторопился Тошка, — и говорит: «Товарищ генерал, то да се, сына женим, с деньгами туго. Может, простите Семепчуку тот танк?» — «Какой такой танк?» — «А мужнин, что подбили в Германии». У генерала — глаза шарами, ничего понять не может, требует ясно и чётко доложить. Супруга и доложила, что больше двадцати лет из мужниной зарплаты каждый месяц вычитают пятнадцать рублей за тот подбитый танк. А сейчас вот то да се, с деньгами туго, сына женим... «Семенчука ко мне, такого-сякого!» — приказал генерал. Семенчук является, командует самому себе: «Смир-р-на!» — ест глазами начальство и малость желтеет при виде дорогой и любимой подруги жизни. «Значит, за танк платишь?» — «Так точно, плачу, товарищ генерал!» Генерал пообещал подруге жизни разобраться и, когда она вышла, тихо так и ласково спросил: «Значит, платишь?.. А ну, исповедуйся, шельмец!» Старшина в голос завыл: «Това-а-рищ генерал! Виноват! Супруга моя — женщина очень строгая насчёт наличных, а вечером, как со службы домой иду, не могу без кружки пива. Вот и пришлось сочинять про тот самый танк, что за Одером, если помните, подбили... Виноват, товарищ генерал!» А через месяц увидела генерала в клубе гражданка Семенчук — и с поклоном: «Спасибо вам, теперь всего по пять рублей вычитают, за одну башню платить осталось!»

Тошкина байка имела успех.

— Думал заставить тебя поплясать, но так уж и быть, даю бесплатно. — Маслов протянул Тошке радиogramму.

— Валяй, сам читай, — беспечно махнул рукой Тошка.

И Борис Маслов, смакуя, с выражением прочитал:

— «Жмуркину Антону Ивановичу живы здоровы чего и тебе желаем тебя повесили на Доску почёта как героя Антарктиды Пеструха отелилась купили телевизор председателя сняли прислали нового к твоему приезду растим кабанчика уже пять пуд Нюрка не дождалась выскочила замуж не жалею других навалом целую крепко семью Жмуркиных».

Хотя на камбузе становилось все холоднее, недоеденный пирог, а ещё больше радиogramма продлили застолье. От Тошки затребовали объяснений, и он поведал о своём неудавшемся романе с Нюрой.

— Я ей говорю: чего кота за хвост тянуть, давай любить друг друга, — а она: шиш тебе, сначала в загс! — Да ты что, говорю, не знаешь, какие безобразия в загсе происходят? Глазом моргнуть не успеешь, как тебе печать в документ шлёпнут! Печать тебе нужна,

говорю, или будущий поко— ритель сурового шестого континента? — Нет, — головой мотает, — сначала печать, а потом покоритель, и вообще я не уверена, что ты меня любишь. Я туда, сюда, рассыпаюсь мелким бесом, распалился, хоть спички об меня зажигай, а она вдруг: ах! — и бегом. Оборачиваюсь — стоит за спиной дед её Митрофан, по прозвищу Облигация, и волком смотрит. Подслушивал, старый хрыч! А Облигацией его прозвали потому, что лет пятнадцать назад получил он по займу облигации и спьяну наклеил их на дверь, а одна сторублевка возьми да и выиграй пять тысяч. Тогда дед выломал дверь и потащил её в сберкасса, а там отпилили кусок с облигацией и послали на проверку. Значит, оборачиваюсь, а дед: ишь ты, сучий сын, шамкает, внуку испортить желаешь? — И так клюкой по хребту дёрнул, что я с воем домой приполз. А наутро Нюркина подруга доложила, что дед запер Нюрку в хате и побожился сторожить до моего отъезда в экспедицию. Я так и сяк, ужом вертелся, умасливал деда — не пускает: пошёл, говорит, вон, поганец, не то ноги повыдергаю. — А мне через три дня уезжать...

— Ну и что? — нетерпеливо спросил Ленька.

— Уехал, — вздохнул Тошка.

— Спасибо, мать кормящая, побаловал, — ласково сказал Пете Игнат и встал. — Спать, братишки, спать.

И походники разошлись «по спальням».

За исключением неодобрительно относившегося к зубоскалу Сомова Тошку любили. Все, даже Ленька, который был ненамного старше Тошки, видели в нём совсем ещё юного подростка, только-только вышедшего из пацанов, потому что, хотя по документам ему был двадцать один год, выглядел Тошка от силы на восемнадцать: необычный для походника рост — метр шестьдесят сантиметров, смехотворный вес — чуть больше трех с половиной пудов и безбородое, с нежным цыплячьим пушком лицо. А у походников, людей вовсе не сентиментальных, хранится под спудом скрытая и неизрасходованная нежность: в радиограммах её не выплеснешь, бородатые физиономии друзей вызывают чувства иного порядка, и получается, что нежность эту деть некуда. Поэтому полярники так любят собак, которых можно ласкать, не опасаясь, что тебя сочтут. прекраснотелым и мягкотелым хлюпиком, и пингвиных детёнышей-пушков любят, и птенцов серебристых буревестников на островных скалах у Мирного — в общем, любят все живое, что не отвергает ласку и нуждается в защите. Может, поэтому и любили Тошку походники, что был он с виду таким худеньким и маленьким птенчиком, весело и бездумно чирикающим. Для одних по возрасту сынок, для других — младший братишка, всегда готовый помочь, услужить, а при случае беззлобно посмеяться над кем угодно, кроме, конечно, бати.

А между тем птенчик этот, несмотря на свою трогательно юную в глазах походников внешность, давным-давно вылетел из гнезда и ни в чьей защите не нуждался. Ласку, любовь принимал и платил за них сторицей, а на ногах своих стоял крепко, возмещая недостаток жизненного и профессионального опыта неиссякаемой работоспособностью.

— И откуда в тебе силы берутся? — удивлялся Петя, когда Тошка без передышки сменил на траках три пальца, вычерпал из цистерны на две бочки соляра и тут же отправился «колоть кабанчиков» на воду для камбуза. — Худенький такой, щуплый, а работаешь, как вечный двигатель из учебника по физике.

— Сказать правду? — Тошка оглянулся, поманил Петю пальцем и вдруг заколебался. — Не растреплешь?

— Никому! — торжественно пообещал Петя.

— Смотри мне! — пригрозил Тошка, снова оглянулся и шепнул в Петино ухо: — Я робот!

— Че-во? — недоверчиво протянул Петя. — Врёшь ты все...

— Да, браток, робот, — расстроенно, выпятив нижнюю губу, повторил Тошка. — Про это один Валера знает. Ночью подзаряжает меня от аккумулятора и смазывает суставы сгущённой. У нас как раз кончилась. Не подкинешь?

Петя оторопело протянул Тошке банку, и тот ушёл, приложив напоследок палец к

губам.

Если бы в Тошкину тайну был посвящён не Валера, а кто-нибудь другой, Петя сдержал бы данное им обещание. С неделю он томился, а потом не выдержал и под страшным секретом поделился с Валерой своими сомнениями. Тактичный Валера сделал вид, что его бьёт кашель, вытер слезы и дал понять, что Тошка пошутил. Возмущённый Петя целый день подчёркнуто не обращал на Тошку внимания и простил только тогда, когда лжеробот в порядке извинения вымыл пол на камбузе.

Подобные шуточки скрашивали Тошкину жизнь, но было бы опрометчивым утверждать, что они составляли её смысл. Тошка страстно любил посмешить и себя и людей, но острым от природы умом понимал, что если весёлого нрава достаточно, чтобы обрести симпатию походников, то завоевать их уважение можно только делом. Иной раз, когда обсуждались важные вопросы, его так и подмывало включиться на равных, внести толковое предложение, но великая сила инерции! — каждое Тошкино слово вызывало улыбку, потому что всем было ясно, что ничего серьёзного он не скажет. Не находили юмора в его словах — искали в жестах, не находили в жестах — видели в мимике, в общей, что ли, Тошкиной конфигурации.

Сегодня Тошка не выспался и чувствовал себя непривычно плохо. После ужина, пока из балка не выдуло тепло, трепался с Ленькой, рассказывал всякие небылицы про Нюрку и других девчат, а когда закрылся в мешке, устыдился своей болтовни: Нюрку он любил, по возвращении собирался на ней жениться и её измену воспринял болезненно. Лучше бы не читал Борис ту радиogramму. Хорошо ещё, что взял себя в руки, отшутился... Вспомнил популярную песенку: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло», попробовал убедить себя, что повезло именно ему, но не очень в этом преуспел. Поспал всего часа два, со звоном будильника поднялся трудно, еле разжёл капельницу. В тамбур по нужде вышел — голова кружилась, руки-ноги не слушались, даже испугался, не заболел ли. После завтрака несколько часов грел соляр и масло, заправил тягач, а когда забрался в кабину — двигатель завести сил не осталось. Заводил — зубами скрипел, только в дороге понемножку и отошёл. Незаметно, значит, накапливалась усталость, вытекали силы, как песочек из больничных часов. Вот тебе и робот, вечный двигатель!

Впервые Тошка порадовался, что не надо никого развлекать весёлой болтовнёй, а можно просто вести тягач по колее и о жизни подумать, что ли, помечтать о самом тайном своём и заветном.

А думал Тошка о том, что, хотя удачно складывается его судьба, нет у него полного счастья. И причина этому одна: всю жизнь, сколько он себя помнил, никто и никогда не относился к нему серьёзно! Никто не догадался заглянуть ему в душу, понять, что бравада его напускная. Даже Валера Никитин, самый чуткий и человечный, «сейф» для чужих секретов и переживаний, Валера, с которым уже две тысячи километров сижено в одной кабине, и тот не давал себе труда спросить: «О чем ты, парень, думаешь, что у тебя на душе?» Посмотрит ласково, погладит взглядом по шёрстке и наострит правое ухо: давай, братишка, вытаскивай из закровов свежую байку, развлекай.

Сам виноват — всю жизнь хохмил и скоморошничал, приучал людей к тому, что Тошка — паяц, теперь попробуй переубеди. За двадцать лет никто совета не спросил, раскрывал рот — отмахивались: погоди, мол, не до шуток. А ведь было что сказать, и не раз!

До армии работал трактористом, колхоз большой, земля хорошая, а председатель никчёмный, с воробыным умишком; только и делал, что орал на всех без толку и перед начальством каблуками щёлкал.

Висело над селом давнее проклятие — бездорожье. До шоссе всего три километра, а сколько машин здесь своё здоровье оставило! В осеннюю распутицу ребят в школу на тракторе возили, в болотных сапогах не пролезть — черт ноги переломает на этих трех километрах. А в округе камня моренного полно — ледники на память людям оставили, так и просится в дело. «Дорстрой» и слышать ни о чём не хотел: нет у него в плане этой дороги и не предвидится. Тошка и придумал: недельки на две арендовать у «Дорстроя»

камнедробилку и грейдер, кликнуть добровольцев из молодёжи и своими силами протянуть до шоссе дорогу. Подготовился, попросил на собрании слово — председатель упёрся и не дал: нечего, говорит, цирк устраивать. Разозлился Тошка, написал в районную газету письмо. Приехал корреспондент, но председатель ему такого про Жмуркина-младшего наговорил, что гость повозмущался, взял интервью о трудовых успехах и укатил обратно.

Что бы Тошка ни предложил, председатель на дыбы: не то что серьёзно поговорить, видеть бузотёра не мог.

Были к тому свои причины. Началось все с того, что как-то председатель, у которого заболел шофёр, приказал имевшему водительские права Тошке сдать трактор и принять машину — не попросил вежливо и по-человечески, а именно приказал! Тошка стал отказываться, председатель нажимал. Тогда на глазах у всего колхоза Тошка подвёл к правлению снаряжённую седлом корову. Председатель Жмуркину — строгий выговор на доске объявлений, а Жмуркин на том выговоре изобразил рядом с подписью всадника, гарцующего на козле. «За подрыв авторитета» бузотёра сняли с трактористов и опрометчиво бросили на свинарник — опрометчиво потому, что здесь Тошка узнал покрытую мраком тайну: среди безликого поголовья втихаря воспитывался и наливался соками личный поросёнок председателя. Скоро в свинарник началось паломничество: все хотели увидеть загон, в котором одиноко похрюкивал увенчанный венком из ромашек кабанчик. На загоне висел фанерный щит с надписью: «Я не какая-нибудь свинья, а персональная!»

Праздник был у председателя, когда Тошку призвали в армию. А молодёжь на селе сразу поскучилась: но нашлось подходящей замены неистощимому на весёлые выходы заводиле.

Так что, если подбить бабки, грустно размышлял Тошка, ничего путного в колхозе он не сделал. Сотрясал воздух весёлым звоном, и только.

И в армии продирался сквозь несерьёзное к себе отношение, словно сквозь джунгли. Сначала все шло хорошо: как и хотел, попал в танковые войска, даже уговаривать не пришлось, тракторист всё-таки. А служба пошла кувырком. Один раз увидели, что после отбоя вокруг Тошки балаган — наряд вне очереди, второй раз — трое суток гауптвахты. Начальство недоумевало, солдат вроде примерный, по службе кругом благодарности, а на занятиях, чуть отвернёшься, — острит в центре хохочущей толпы.

Решили перевести Жмуркина в ансамбль песни и пляски при Доме офицеров, пусть развлекает народ в отведённое для этого время. «Мимика у тебя, талант, — соловьём разливался худрук ансамбля. — Юмор будешь чи— тать!» Тошка взвыл: не умею, мол, по заказу шутить, — а поздно: бумага подписана. Пришлось зубрить монологи и разучивать сценки, корчить рожи перед залом и разъезжать по смотрам самодеятельности. К удивлению Тошки, принимали его с каждым разом все лучше, смеялись и аплодировали, даже премию на конкурсе получил — именные часы. Под влиянием такого успеха смутная мысль зародилась: а не махнуть ли после демобилизации в театральную студию, на артиста учиться?

И кто знает, как сложилась бы Тошкина судьба, если бы не приезд почётных гостей, бывших танкистов части — Никитина и братьев Мазуров. Как когда-то Гаврилов, они тоже выступили в клубе и рассказали о трансантарктических санно-гусеничных походах, а на главный, вскруживший многие головы вопрос: как туда попасть, прямо ответили, что обещать не обещаем, но у лучшего из лучших, которого командир части рекомендует, есть шанс.

А потом началась художественная самодеятельность, и Тошка с треском провалился.

Ничего у него не получалось, не мог он паясничать в этот вечер! Бубнил заученные шутки, играл мускулами лица, подражая своему любимому Юрию Никулину, но зал, всегда доброжелательно к Тошке настроенный, не смеялся: впервые Тошка не нашёл с ним контакта. Произошло это потому, что выступление полярников как обухом по голове Тошку ударило: время золотое теряю! Вот оно, дело, ради которого стоит жить!

И — рапорт на стол: прошу обратно в часть. Худрук винтом крутился, молочные реки и

кисельные берега сулил, льстил, слова Нерона вспоминал: «Какой великий артист погибает!» — а Тошка ни в какую: прошу обратно в часть!

Худрук, когда узнал причину, обидно посмеялся: куда тебе, от горшка два вершка, в Антарктиду, первым же ветром унесёт с Южного полюса на Северный. К такому разговору Тошка был готов. Не говоря ни слова, взял двухпудовую гирию и семь раз выжал правой рукой, потом левой — пять раз.

— Черт с тобой, иди! — зло, но с уважением сказал худрук.

И Тошка вернулся в часть — навёрстывать упущенное. За год два раза в кино побывал, от увольнительных в город отказывался, а двигатель, ходовую часть танка и тяжёлого артиллерийского тягача изучил не хуже любого сверхсрочника. И добился своего: о лучшем механике-водителе командир написал письмо Гаврилову. Не поленился батя, приехал; сначала заулыбался при виде юркого малыша, которого ему сватают, а присмотрелся, понял, что перед ним одержимый, и благословил.

И тот день стал самым счастливым в жизни Тошки.

Никогда, ни одному человеку на свете не признался бы он в том, что с детства мечтал о подвиге! Сначала это были такие наивные мечты, что и вспоминать неловко, потом книжные — вроде полёта к Туманности Андромеды. И лишь в самые последние годы стал мечтать о том, что достижимо для человека его характера, сил и способностей. Войны, слава богу, нет, и не достанется ему Звезда Героя, и космонавтом ему не быть, а вот в огонь и воду пошёл бы и бандиту поперёк дороги встал бы.

Очень Тошке нужен был хотя бы такой, рядовой подвиг, чтобы земляки, однополчане, друзья удивились и сказали: «Думали, ветерок у него в башке гуляет, а ведь стоящий он человек оказался, Антон Жмуркин!»

Но пожары, наводнения, бандиты проходили стороной, не давали Тошке отличиться. А что и где он мог ещё сделать? Колхозу хотел помочь — дали от ворот поворот; восстанавливать Ташкент после землетрясения попросился — председатель в райком комсомола лично позвонил, помог товарищам избежать такой «ошибки». Актёрскую известность получить? Хватило ума сообразить, что самодеятельные его потуги бесконечно далеки от искусства таких мастеров, как Эраст Гарин, Аркадий Райкин, Юрий Никулин.

Потому так и ухватился за возможность попасть в Антарктиду, пройти санно-гусеничным путём по её ледяному куполу. И попал, хотя только солдат поймёт, каких усилий и жертв ему это стоило, какой аскетической жизнью жил Тошка второй год службы.

Ну и что же? На Доску почёта в колхозе повесили — знатный земляк, походник Антарктиды! А он, этот знатный земляк, и здесь клоун. Как был, так и остался «своим в доску, рубахой-парнем» — у всех на подхвате. В Мирный прибыли, транспортный отряд дневал и ночевал на припае, с опасностью для жизни суда разгружал, а Тошка что в это время делал? Три раза в день посуду на камбузе мыл на сто двадцать персон. Некому больше было мыть посуду, только Жмуркин сгодился на такое ответственное дело! Спасибо ещё, взял батя на Восток, не было счастья, да несчастье помогло: аппендикс у Мишки Седова вырезали, освободилась штатная должность. А то красиво бы отзимовал, ярко и доходчиво рассказал бы на колхозном собрании, как «знатный земляк» героически мыл тарелки и драил кастрюли на камбузе обсерватории Мирный.

Ну, взял батя с собой, а что толку? Тоже на подхвате. «Потерпи, Тоша, повзрослей на один поход, сынок». Повзрослеешь тут!.. Через зону трещин, заструги шли — близко к рычагам Валера не подпустил: рано, мол, присматривайся, дело серьёзное. Как на обсуждении вставишь слово — цыц, мальчишка, взрослые люди говорят. «Маленькая собачка до старости щенков»

— это о нем Сомов сказал. Не выдержал тогда, ответил: «Щенок — он всегда собакой станет, а мерину конём не бывать!» Не простил обиды Сомов... Вот тебе и попал в поход — чуть ли не пассажиром... Ленька и вполтину так тягач не знает, а почёт и уважение — батю от смерти спас! У Сомова не поймёшь, в чём душа держится, а герой — чуть сам не отдал концы, но вытащил Леньку из позёмки. Петя, уж совсем вроде ангелочек без крыльев, —

воем исходил, а встал на помороженные ноги, чтоб накормить людей...

Тошка вспомнил вдруг рассказ старшего брата, как тот попал на фронт весной сорок пятого и, сопливый мальчишка, переживал, что война вскоре закончилась, а он подвига не успел совершить, вспомнил потому, что поймал себя на такой же детской мысли: обидно, поход на последнюю четверть переваливает, а он, Тошка, так ничем себя и не проявил.

Тяжело вздохнул: все думают, что нет на свете человека веселее и счастливее Жмуркина, а он просто неудачник. Ростом маленький, характером несолидный, любовью обойдённый. Никто не посмотрит на него такими глазами, как смотрят на бату, никто не скажет — выручи, Антон Иванович, сходи ещё в один поход, на тебя вся надежда. Будет Тошка, не будет Тошки

— один черт. Никому он не нужен...

С этими горькими мыслями и тянулся за идущим впереди тягачом Валеры неудачник Тошка, глупый пацан, которого походники, как подарок судьбы, приняли, младший братишка, от одной улыбки которого оттаивали озябшие души, беззаветный трудяга, готовый полезть хоть в двигатель, хоть к черту на рога — свой в доску, рубаха-парень, надёжнейший из надёжных.

Кое в чём, конечно, ты сам виноват, но виноваты перед тобой и батя, и Валера, и другие старшие товарищи. Кто-то из них мог бы, должен был бы не только байкам твоим посмеяться, но и на разговор вызвать, понять, чем ты дышишь, и, разобравшись, сказать: «Ну какой тебе ещё нужен подвиг, если ты целый месяц идёшь в семьдесят градусов мороза по куполу, мёрзнешь, как не мёрзла ни одна собака, вкалываешь не за страх, а за совесть и всё-таки жив и пока здоров? Если об ордене размышляешь, то зря: батя и тот ни одного в Антарктиде не получил. Зато все полярники будут знать, что за человек Антон Жмуркин. Мало тебе, что ли? Если мало, значит, верно, что ветерок в твоей башке гуляет и надо тебе повзрослеть ещё на один поход. Хотя и в этом ты ещё хлебнёшь — до Мирного восемьсот километров, лихие будут эти километры, поверь битому волчаре, Тошка...»

«Харьковчанка» остановилась, притормозили и следовавшие за ней машины. Тошка взглянул на часы — батюшки, обед! За раздумьями и как-никак самостоятельной работой забыл, что позавтракал плохо, и сейчас вдруг почувствовал такой голод, что съел бы, кажется, зажаренный коленчатый вал. Даже подшлемник не натянул — бегом по морозу на камбуз.

— Рано, — буркнул суетившийся у плиты Петя, — поди поработай, нагуляй аппетит... робот!

— Бойся собаку сытую, а человека голодного! — прорычал Тошка. — Дай хоть бутербродик умирающему!

Сердобольный Петя уступил, и Тошка, жадно прожевав кусок копчёной колбасы, сразу повеселел. Будто и не чувствовал себя разбитым, будто не думал о горькой своей судьбе.

Девичьи слезы, юношеские печали...

ЦИСТЕРНА

Не верили, не ждали от этой цистерны ничего хорошего, а всё-таки тлел уголёк надежды: чем черт не шутит, когда бог спит? Дыхание затаили, смотрели, как Ленка отвинчивает крышку горловины, и увидели снова облепленный густой массой черпак...

Ладно, хоть и на киселе, а дошли ведь сюда — до станции Восток-1, половина пути позади. То есть станции никакой здесь нет, символ один, но греет сам факт: не безлика точка в снежной пустыне, а географическое название, отмеченное на любой антарктической карте. Радиogramмы домой отправили, и родные точно будут знать, где сутки назад находились их полярные бродяги. Удалось и кое-чем разжиться: на брошенных в незапамятные времена полужасыпанных снегом санях валялось несколько разбитых ящиков и с десятков досок. Пригодятся в хозяйстве, пойдут в огонь — соляр и масло разогревать.

Больше на станции делать было нечего, осталось лишь цистерну подцепить к

Ленькиному тягачу, следом за хозсанями. Дело минутное: примотали стальное водило к саням, разошлись по машинам и двинулись вперёд — уже не по колее, а развёрнутым строем — снег в этом районе Центральной Антарктиды спрессован крепко, и необходимость в колее отпала.

Проехали метров сто — нет в строю Савостикова! Высунулся Игнат из «Харьковчанки», присмотрелся — не двигается Ленька. Может, цистерна отцепилась? Выругался Игнат и разворотом на сто восемьдесят градусов дал поезду команду возвращаться.

Вернулись и увидели такую странную картину: ревьёт Ленькин тягач, содрогается весь от напряжения — и ни с места, лишь гусеницы прокручиваются. Что за чертовщина, тягач-то в порядке, пустяк для него двадцать пять тонн груза. Взял Игнат Леньку на буксир, одновременно рванули — та же история!

Стоп, разобраться надо, опасное это дело — вхолостую гусеницы крутить. Осмотрели сани, на которых лежала цистерна, потом взяли топоры и лопаты, начали вскрывать спрессованный чуть ли не до льда снег, докопались до полоза и обнаружили, что его стальная поверхность покрыта снизу каменно-твёрдыми буграми. Не сразу сообразили, что к чему, а поняли — руки у людей опустились.

Когда около двух месяцев назад пришли из Мирного на Восток-1, у Сомова, который тащил тогда эту проклятую цистерну, лопнул маслопровод. По инерции тягач прошёл ещё несколько метров и остановился, но те самые метры и оказались роковыми. Сани наехали на горячее масло, оно прикипело к полозьям и поставило цистерну на мёртвый якорь. Впрягись в неё пять тягачей, и то не сорвали бы с места, а если бы даже и сорвали, то без скольжения тащить за собой такой груз всё равно невозможно.

Не хотел Алексей выпускать Гаврилова из тепла, а пришлось — под честное слово, что разговаривать на морозе не будет. Два подшлемника батя надел, пуховый вкладыш из спального мешка на плечи накинул и вышел

— решать, что делать. Знаком остановил Леньку и Тошку, которые, подкопавшись, пытались зубилами сколоть масляные комки, осмотрел полоз, подумал и жестом указал на «Харьковчанку» — пошли, мол, проводить совет.

— Без этой цистерны до Пионерской не дойдём, — улёгшись опять в мешок, сказал Гаврилов. — Кто что думает?

— Перечерпать из неё соляр в одну из наших, — с ходу предложил Игнат. И тут же замотал головой:

— На двое суток делов...

— Отпадает, — сказал Гаврилов.

— А почему бы всё-таки не сколоть масло зубилами? — осмелился Тошка.

— Попробуем!

— Бессмысленная трата сил, — возразил Давид. — Может, сколоть кое-что и удастся, но скольжения всё равно не будет.

— Я тут подсчитал, — Маслов подсел к бате с листком в руке, — что если полностью заправим баки из этой цистерны и бросим её здесь, до Пионерской доползём. На пределе, но доползём.

— А пургу недели на две не подсчитал? — пробурчал Сомов. — С твоим подсчётом застрянем в полсотне километров от Пионерской и откинем без топлива копыта.

— Точно, откинем, — подтвердил Гаврилов. — Ну?

— Я за предложение Бориса, только с одной поправкой! — включился Ленька. — Заправимся до отказа, но бросим здесь, кроме цистерны, и какой-нибудь тягач. Тогда па остальные машины солярки хватит. Ну, как?

— Правильно! — поддержал Маслов. — Верняк!

— Я против, — решительно возразил Валера. — Дорога большая, всякое может случиться. Нельзя бросать машину, пока она на ходу. Не спортивно!

— Спорить не стану. — Ленька огорчённо развёл руками.

— Остаётся, сынки, одно... Как думаешь, Василий?
— П думать нечего, — отозвался Сомов. — Паяльные лампы.
— Вот это да! — радостно поразился Тошка. — Выдать Кулибину в награду окурков!
— Значит, решено, — гася оживление, вызванное напоминанием о куреве, подытожил Гаврилов. — Бери, Игнат, лампы и разбивай людей на бригады. Работать так: как масло разогреется, счищай, не теряя ни секунды, не то снова окаменеет. Под очищенную поверхность сначала подставляй чурку и лишь потом подкапывайся под следующий участок полоза, иначе сани с цистерной осядут — не вытащим. За дело, сынки!

Неприветливо встретила и совсем уж плохо проводила походников станция Восток-1. Пять часов длились проводы, и были это, наверное, самые трудные часы за весь поход.

На куполе всегда не хватает воздуха, а тут его словно вдвое разбавили и втрое высушили, ни влажности, ни кислорода в нём не осталось: да долю каждого пришлось слишком много резких движений, на куполе вообще противопоказанных. Чтоб подобраться к полозьям снизу, рубили в снегу глубокие траншеи — на это и уходили главные силы, а затем растапливали комки авиационными паяльными лампами. Задыхались от копоти, обжигались раскалённым маслом, сменялись каждые десять минут и шли в «Харьковчанку» — отдыхать и лечить ожоги. Дымились пропитанные соляром каэшки, отврати — тельно пахло палёным. Давид прожёт подшлемник и опалил бороду до кожи, у Маслова обгорели усы и веки. От дыма и копоти помороженные лица людей совсем почернели, чёрной была слюна и даже слезы из глаз казались чёрными.

Доработался до обморока Валера, потом снова хлынула из носа кровь у Сомова, и их обоих Алексей до работы больше не допускал. Остальных тоже шатало, но они пока ещё держались.

Игнат заметил, что ловчее других управлялся с лампой Тошка. Траншеи стали рубить узкие — на Тошку — и на этом сэкономили по меньшей мере час. Лампой теперь орудовал он один: раскалял масло и тут же счищал его ветошью. Пока другие готовили новую траншею, он успевал и дело своё сделать и отлежаться минут десять в «Харьковчанке», где за ним был организован особый уход. Алексей смазывал лицо и руки Тошки защитной мазью, давал микстуру, чтобы тот откашлялся, и поил горячим чаем. А Тошка, который стал главной фигурой, с комичной важностью принимал заботы, даже пошучивал, но под конец, когда почти вся работа была сделана, до того дошёл, что из-под полоза его за ноги вытаскивали.

Закончили, съёрнули цистерну с места, убедились в том, что скользят сани нормально, и легли спать. В первый раз не разделись до белья и печь не загасили, но в этом не было необходимости, потому что в «Харьковчанке» у капельницы все семь часов продежурил батя, а в жилом балке — Алексеи. Они же и подняли людей, не пошелохнувших от звонка будильника, силой пришлось поднимать — жестокая нужда.

Позавтракали, напились крепкого кофе и кое-как разогнали кровь по жилам. Сомову надоело отдыхать, и он отправился на свой тягач, а Тошка подменил Валеру, которого Алексей уложил болеть. Часа за четыре разогре — ли топливо и масло, запустили двигатели и, не оглянувшись, покинули станцию Восток-1.

Поезд пошёл под горку. Начиная от Комсомольской, купол с каждым километром чуть-чуть, незаметно для глаза понижался и столь же незаметно повышались атмосферное давление и температура воздуха, насыщенность его кислородом.

На бумаге можно было бы легко доказать, что эти факторы должны были улучшить самочувствие походников, поскольку организм человека чутко реагирует на изменения окружающей его среды. Но в таком теоретически безупречном выводе имелся бы логический просчёт, ибо оказалось бы неучтённым одно обстоятельство: люди не успевали восстанавливать свои силы.

Разреши Гаврилов десять-одиннадцать часов сна в сутки — этого, пожалуй, хватило бы по такой работе в самый раз. Не позволяла арифметика. Приплюсуйте четыре-пять часов на подготовку тягачей да ещё несколько часов на неизбежные ремонты, на завтрак, обед и ужин

— сколько времени останется на перегон? Пшик останется! А метели, когда из машины носа не высунешь? А непредвиденные аварии, другие беды, которых не запланируешь? И получится, что если спать по десять-одиннадцать часов, то поход от Востока до Мирного затянется на четыре месяца. Вернее, мог бы затянуться — ни топлива, ни продуктов питания, ни баллонов с газом для камбуза на эти месяцы не хватит.

Поэтому спали семь, а с сегодняшнего дня будут спать шесть часов в сутки. И это многовато, но ничего не поделаешь, меньше никак нельзя. Но и больше — ни на минуту, потому что через месяц поезд должен быть в Мирном.

Не будь пожара и взрыва, уничтоживших балок на Ленкином тягаче, в Мирный можно было бы прийти и через полтора-два месяца. А раз уж это произошло, то крайний срок возвращения — месяц.

Только Гаврилов, Антонов и Задирако знали, что хлеба, мяса и соли у походников осталось на тридцать дней.

И ещё несколько человек в поезде знали то, чего не должны были знать другие.

Алексей, Игнат и Валера знали, что у Гаврилова развилась острая сердечная недостаточность и ему необходим полный покой. А как его, этот покой, обеспечишь?

Коллега из Мирного проговорился Маслову, что на Большой земле распространились слухи о неизбежной гибели поезда, и Макаров лично под свою ответственность редактирует и переписывает отчаянные радиогаммы походникам от родных и близких. Гаврилов взял с Маслова клятву, что тот будет держать язык на привязи.

И никому, даже бате, щадя его сердце, Игнат и Валера не рассказали о новой угрозе, нависшей над поездом. Установленный на Валерином тягаче кран-стрела, единственный механизм, способный поднять коробку передач или другой тяжёлый груз, в любой момент может выйти из строя: в шестерне обнаружилась неожиданная трещина. Лопнула калёная сталь, не выдержала адских холодов. А запасной шестерни не было!

Знавшим все это приходилось молчать. Все-таки пошла вторая половина пути, морозы ослабли до шестидесяти четырех градусов, и у людей появилась надежда, что поход закончится благополучно. Не так страшна трещина в металле, как трещина в этой самой надежде.

Бывает в жизни, когда незнание спасительно. Слово не только лечит, оно и убивает.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ

Тихо было в «Харьковчанке». Экипаж ушёл завтракать, Гаврилов похрапывал, разметавшись на полке в одном белье. Чтобы не мешать бате, Валера отодвинулся к самому краю и молча смотрел, как Алексей пересчитывает ампулы в аптечке.

Под утро у Валеры началось удушье, и он проснулся в холодном поту. Голова раскалывалась от боли, грудь сжимало, горло саднило, будто по нему прошли рашпилем. За весь поход не было так плохо. Откашлялся, наглотался таблеток и теперь лежал, обложенный горчичниками. Хронический бронхит, определил Алексей, а может, затронуты и верхушки лёгких. Все, отработался, из «Харьковчанки» больше не выйдешь до самого Мирного...

Спорить Валера не стал. Пока есть кому его заменить, нужно попробовать отлежаться в тепле. А насчёт «больше не выйдешь» — это ещё посмотрим. Бате работать нельзя, Никитину работать нельзя, а Сомову можно? Не сегодня завтра и Васю рядом уложишь. А что Тошка светится, как восковой, и Давида без ветра шатает, не видишь? Видишь, дорогой друг. Всякое может случиться; не будем загадывать, кому суждено довести поезд.

Валера с острой жалостью подумал о том, что и у самого Алексея один нос на лице остался. Эх, Лёша, Лёша, напрасно запаял ты свою душу в консервную банку!..

— Было что от Лели? — всё-таки решил спросить.

— Нет. Как, прогрело?

— Жжёт, но терпеть можно.

- Тогда терпи.
- Зря спросил! Не так надо было начинать, отвыкли друг от друга.
- Я по тебе соскучился, — сказал Валера.
- И я тоже.
- С Востока за сорок дней не поговорили.
- За сорок два, — уточнил Алексей. — А мыслей у тебя много накопилось?
- Если пошуровать, две-три найдётся.
- Тогда ты Эйнштейн по сравнению со мной. У меня одна: как бы поскорее добраться до центра цивилизации — обсерватории Мирный.
- Боишься не довезти?
- Тебя довезу.
- Не обо мне речь.
- Ночью батю снова прихватило.
- Поня-ятно...
- Как и вчера. Давление двести двадцать па сто десять.
- Лёша!
- Я не волшебник, учился только на волшебника, — усмехнулся Алексей.
- У меня нет кислорода, пет кардиографа, нет отдельной противошоковой палаты, ничего пет! Если бы не полторы сотни ампул в аптечке, я был бы вам полезен не больше, чем чучело пингвина.
- Не самоуничижайся, ты многое делаешь.
- Тысячную долю того, что хотел бы.
- Ты очень изменился.
- Всех нас хоть на парад энтузиастов...
- Я не о внешности. Тоска у тебя в глазах...
- Не надо, прошу тебя...
- Как хочешь.
- Не обижайся. Давай лучше помечтаем.
- Давай, — согласился Валера.
- Твои мечты на лице у тебя написаны, а мои — можешь угадать?
- Чтоб на причале тебя встретила...
- С тобой помечтаешь... Нет у тебя взлёта фантазии! — перебил Алексей. — Знаешь, о чём я мечтаю? Ни разу в жизни никого не ударил, а теперь — хочешь верь, хочешь не верь — кровь вскипает от дикого желания: увидеть Синицына и избить его до потери сознания... самого себя пугаюсь... Что, смешно?
- Нет, не смешно. Хотя, честно говоря, не монтируется твой образ с картиной мордобоя.
- Не веришь, что я способен па такое?
- Один писатель развивал оригинальную гипотезу, что человеческая культура, образование, мораль — тонкая плёнка на первобытном мозгу троглодита. В стрессовом состоянии плёнка прорывается, и рафинированный интеллигент с рычанием хватается за дубину.
- Ну?..
- Я подобные гипотезы отвергаю. Мир и без того сходит с ума, незачем теоретически вооружать и оправдывать жестокость и насилие. Не знаю, как там рафинированный интеллигент, а мыслящий человек обязан подавлять в себе троглодита. Так что, — Валера улыбнулся, — отбрось в сторону дубину и оставь Синицына в покое.
- Но я его ненавижу! — взорвался Алексей. — А вы будто спелись! Поразительно! Когда обнаружилась история с топливом, ребята были готовы Синицына растерзать; через неделю они говорили, что набьют ему физиономию, а завтра, чёрт возьми, они его простят!
- Что ж, меня бы это не удивило. Негодяем Федора, пожалуй, не назовёшь, он просто равнодушный человек.

— Когда наконец мы поймём, что равнодушие опаснее подлости?! Хотя бы потому, что оно труднее распознается. Такие, как Сеницын, страшнее откровенных негодяев. Судить его надо!

— Крик души очень уставшего человека.

— Врача, друг ты мой, врача! Я, не забывай, давал клятву Гиппократу и с юмором относиться к ней не могу. Неужели думаешь, что я прошу ему батины приступы и твои обмороки, Васю и Петю, всех вас?

— Гиппократу?

— Сеницыну черт бы тебя побрал! За несерьёзность будешь лежать с горчичниками на десять минут дольше... Уж не оправдываешь ли ты его?

— Нет, Лёша, не оправдываю. Руки я ему не подам. Но судить... Равнодушие — явление более распространённое, чем ты думаешь. Возьми любой номер газеты и найдёшь там статью, заметку, фельетон о равнодушных людях. Их много, Лёша, всех не пересудишь.

— Примиренческая какая-то у тебя философия.

— Погоди давать оценки. Согласись, что нравственно человек ещё весьма далёк от совершенства. Расщепить атомное ядро куда легче, чем разорвать цепочку: инстинкт самосохранения — эгоизм — равнодушие. Эти звенья паялись тысячами веков, не такие мыслители, как мы с тобой, ломали копыта в спорах, что есть человеческая натура и как её переделать. Равнодушие — производное от эгоизма, оно омерзительно, но — увы — живуче. Нравственность не автомобиль, её за десятилетия не усовершенствуешь.

— Погоди, не вилай. Как ты определишь равнодушного?

— Ну, хотя бы так... Юлиан Тувим шутил: «Эгоист — это человек, который себя любит больше, чем меня». Если перефразировать, то можно сказать: «Равнодушный — это человек, который так любит себя, что ему начхать на меня».

— И ты позволишь Сеницыну ходить с небитой мордой?

— Расквашенный нос, друг мой, ещё никого не делал более чутким и отзывчивым.

— Снова остришь? Это позиция холодного наблюдателя!

— Почему холодного? Анатолий Франс сказал: «Дайте людям в судьбы иронию и сострадание». Вот что мне по душе!

— Непротивление злу насилием?

— Я рядовой инженер-механик, а не специалист по моральному облику, друг мой. А ты врач. Поставь на ноги бату, вылечи ребятам помороженные лица и руки, а также сними с меня горчичники и выгони из «Харьковчанки» как симулянта. Каждый должен возделывать свой сад.

— Услышал бы тебя батя...

— Думаешь, не слышал?.. Сколько раз спорили...

— Ну и, признайся, песочил тебя за такие взгляды?

— Было дело... Середины для него не существует — либо белое, либо чёрное. Как он меня только не обзывал! и хлюпиком, и амёбой, и гнилым интеллигентом, но я не обижался, потому что... — Валера улыбнулся, — свой разнос он заканчивал так: «Не хрусти позвонками, сынок, шею вывихнешь. Кого люблю, того бью...» Батя мне — второй отец...

— Ладно... Сейчас начнёшь кричать, что я использую недозволенные аргументы и насилию твою психику... Так вот, рядом лежит родной тебе человек, ставший жертвой равнодушия. А ты...

— Выходи его, Лёша!

— Твоё ходатайство решает дело. Дурак ты, Валерка!

— Пусть дурак, пусть кретин... Я его знаю лучше, вы — только по работе... Он удивительный, все у него безгранично — и честность, и мужество, и ненависть, и любовь... Не видел я таких людей, Лёша!

— Тише, разбудишь, дай горчичники сниму. Ну, легче откашливается?

— А, к черту...

— Лезь обратно в мешок... гнилая интеллигенция. Значит, не пойдёшь со мной

Синицына бить? Валера потемнел.

— Если с батей что случится — пойду и убью.

АЛЕКСЕЙ АНТОНОВ

Алексея походники не узнавали, доктор стал молчалив, неулыбчив, даже угрюм. За все шесть педель ни разу не взял в руки любимую гитару, а когда его просили об этом, отнекивался, ссылаясь на помороженные пальцы. Спрашивали Бориса, не получал ли доктор каких плохих известий, — оказалось, не получал. Осторожно допытывались у Валеры, но тот ничего не сказал и лишь посоветовал ребятам не лезть Алексею в душу.

Будь Антонов новичком, его поведение можно было бы легко объяснить: не выдержал док, кишка оказалась тонка. Но за ним числился уже один поход, безупречно проведённая зимовка.

Полярники — народ требовательный: им мало того, что доктор умеет вырвать зуб или лёгким ударом ладони вправить вывих, им ещё нужно в этого доктора поверить как в человека. Особенно походникам: и потому, что дело у них поопаснее, чем у других, и потому, что в массе своей они обыкновенные работяги — в том смысле, что профессии механика-водителя отдаются целиком, раз и навсегда, считают её для себя самой подходящей и ни на какую другую не променяют. И человек, зарабатывающий себе на хлеб не физическим, а умственным трудом, уживается среди походников далеко не всегда, к нему будут долго присматриваться, чтобы, понять, что он собой представляет.

Если этот человек нарочито огрубляет свою речь, лезет вон из кожи, чтобы показаться «своим в доску», — отношение к нему будет ироническое. А если останется самим собой и ничем не выкажет своего превосходства (иной раз иллюзорного, потому что диплом не заменяет ума, и недаром в народе шутят, что лучше среднее соображение, чем высшее образование), тогда его признают своим — будут от души уважать.

В Мирном походники жили вместе — в одном доме, и когда Алексей приходил к Валере поговорить, ребята присаживались рядом, включались в разговор. Что же касается бати, то, мало знакомый с научной терминологией, он тем не менее легко вскрывал суть любого спора на абстрактную тему и простыми, но несокрушимо логичными аргументами клал на лопатки и Валеру и Алексея.

Очень любили походники эти вечера, не раз вспоминали о них и жалели, что доктор притих и ушёл в себя.

Как-то в один из тех вечеров разговор зашёл о роли случая в жизни человека — тема неисчерпаемая и богатая примерами. Алексей доказывал, что судьба индивида зачастую зависит от слепого случая. Валера возражал, и тогда Алексей предложил каждому рассказать, как он стал полярником. И оказалось, что многие походники попали в Антарктиду вроде как бы по воле случая!

Гаврилов молча лежал на своей койке, а когда до него дошла очередь, сказал:

— Послушал бы кто со стороны этот трёп, решил бы, что всех вас, как птичек, занесло сюда ветром. Ты, Лёша, рассказывал в прошлый раз про неудачи с пересадкой сердца, что организм отторгает чужеродную ткань. Так вот, сынки: в Антарктиду, конечно, можно попасть и случайно. Но случайного человека Антарктида не примет. Отторгнет!

В последнее время Алексей не раз вспоминал ту вечернюю беседу. Склонность к самоанализу побуждала его к размышлениям, иной раз мучительным. Сознывая, что па его настроение решающим образом влияет молчание Лели, он в то же время искал и находил и другие причины: малая профессиональная отдача, в какой-то мере даже деквалификация, безмерно тяжёлые условия и прочее. Но если так, то не случайный ли он человек, не отторгает ли его Антарктида?

Если разобраться, ворошил прошлое Алексей, сюда его привела короткая и даже анекдотическая цепочка случайностей.

Началось с того, что и в мединститут, о котором мечтал со школьной скамьи, он попал,

можно считать, случайно. На вступительном экзамене по литературе дерзко, по-мальчишески написал, что, живи Анна Каренина в на— ше время, она не бросилась бы сдуру под колеса, а обратилась бы за помо— щью и поддержкой в профсоюзную организацию. Грамматических ошибок в сочинении не было, и экзаменатор в порыве либерализма поставил автору тройку, но из-за этой тройки до проходного балла Алексей чуть-чуть не дотянул. Решил податься в Технологический — ходили слухи, что там недобор. Пошёл в приёмную комиссию забирать документы и буквально поймал в свои объятия поскользнувшегося на апельсиновой корке толстяка с портфелем.

— Безобразия! — буркнул толстяк.

— Это насчёт того, что я помешал вам загреметь вниз по лестнице?

— Я имел в виду мерзавца, бросившего корку.

— Кстати, вы снова наступили — на другую.

— Юноша! Вас послало ко мне провидение! Спасибо.

— Благодарите Анну Каренину, — проворчал Алексей и направился было дальше, но толстяк его остановил:

— А почему, собственно, я должен её благодарить?

— Долго рассказывать, — с некоторой досадой ответил Алексей. — Простите, я спешу.

— Забирать документы? — И, улыбнувшись отразившемуся на лице Алексея изумлению, добавил: — Не удивляйтесь, я заведу кафедру психологии. Излагайте.

Вот и получилось, что благодаря никчёмной апельсиновой корке Алексей всё-таки попал в медицинский институт. С блеском его окончил и получил лестное для выпускника приглашение в клинику экспериментальной хирургии. За четыре года работы набрался кое-какого опыта, самостоятельно проделал ряд интересных операций и стал уже задумываться над диссертацией, как в цепочке случайностей появилось второе звено.

В отдельной палате, над которой шефствовал доктор Антонов, лежал в ожидании пустяковой операции известный актёр, красавец и любимец публики. Руководство клиники во всем ему потакало и даровало множество привилегий, главной из которых был свободный доступ посетителей, точнее, посетительниц, засыпавших цветами ложе скорби своего кумира. Другие больные роптали, и Алексей понемногу возненавидел своего пациента, Фанфана-Тюльпана на сцене и беспримерного труса в жизни, умирающего от страха при мысли об операции. Однако что мог поделать рядовой доктор, если сам главный врач ежедневно навещал больного и самолично заглядывал в скрытое от глаз широкой публики место, подлежащее хирургическому вмешательству!

Но однажды терпение Алексея лопнуло. В святое время обхода доктор застал в палате весьма эффектную особу, которая сочувственно внимала возвышенным мыслям актёра: «О Шекспир! О святое искусство!»

— У меня дама, — с королевским величием заявил актёр. — Зайдите позже.

— Пардон, — сдерживая бешенство, с улыбкой проговорил Алексей. — Я только хотел напомнить, чтобы вы не забыли сегодня вечером и завтра утром сделать очистительную клизму с ромашкой!

И, с огромным удовлетворением взглянув на отвисшую челюсть пациента, вышел из палаты. Вслед за ним пулей выскочила особа. Она прислонилась к стене и, всхлипывая, смеялась до слез.

— Хотите валерьянки? — предложил Алексей.

— Какой у него был идиотский вид! — обессилив, пролепетала особа.

— А ведь и в самом деле идиотский! — расхохотался Алексей. — «О Шекспир!..»

— «О святое искусство!» — изнемогала она. — Боже, какая я дурёха!

Так Алексей познакомился с Лелей.

Актёр учинил грандиозный скандал, и главный врач потребовал, чтобы доктор Антонов немедленно извинился перед своим пациентом.

— Ни за что па свете! — отрезал Антонов и, сузив глаза, добавил: — Впрочем, извинений не потребуется. Я ухожу по собственному желанию.

— Голубчик, — неожиданно смягчился главный врач, ну зачем так?.. Я понимаю, что вы... Но, честно говоря, признайтесь, что немножко чересчур, а?

Алексей пожал плечами и вышел. Когда он через несколько минут принёс заявление, главный врач в смущении расхаживал по кабинету.

— Погодите, спрячьте своё заявление, у меня есть одна идея... Вы молоды, сильны... Лет двадцать с лишним назад, в ваши годы, я бы даже не задумывался... Понимаете?

— Пока нет, — терпеливо ответил Алексею.

— Да, я же ещё не сказал... Мне вчера звонили полярники, им срочно нужен хирург в антарктическую экспедицию. Я обещал порекомендовать им человека.

— С удовольствием! — вырвалось у Алексея.

— Ну, тогда решено. — И главный врач снял телефонную трубку.

Через три месяца, простившись па причале с родителями и Лелей, врач-хирург антарктической экспедиции Антонов стоял па палубе «Оби» и смотрел на угасающие вдали огни Ленинграда.

Разговаривать ни с кем не хотелось, а деться некуда, во всех каютах шла отвальная, и Алексей всю ночь просидел в музыкальном салоне, глядя в окно на осеннюю Балтику и думая о своих сложных взаимоотношениях с Лелей.

Они встретились в первый же день их знакомства и поужинали в ресторане на Невском. Почему она пришла навестить этого актёра, Леля не объяснила; впрочем, и в дальнейшем она не отчитывалась в своих поступках.

Наутро, уловив взгляд Алексея, она сказала:

— Вижу в твоих глазах вопрос. Спрашивай.

— Нет, что ты, — смутился Алексей.

— Я у тебя какая?

Алексей, краснея, начал бормотать, что-то невнятное. Леля рассмеялась:

— Можешь по отвечать, по и меня ни о чём не спрашивай.

— Мне кажется, мы должны знать друг о друге все.

— Зачем?

— Я люблю тебя.

— Слишком быстро, милый. Ты мне нравишься, но не больше.

В свои двадцать семь лет Алексей отнюдь не был монахом. Обзаводиться семьёй он пока не собирался. Родители, ревниво относившиеся к единственному чаду, заранее настроились против будущей невестки и, руководствуясь старой житейской истиной: «Сын не дочь, в подоле не принесёт», — были даже довольны, что сын не спешит жениться.

Но связь с Лелей осложнилась одним обстоятельством: Алексей впервые полюбил.

Леля была на два года моложе его, но уже успела пережить неудачное замужество и имела трехлетнюю дочь Зою — Зайку, очаровательное белокурое и темноглазое существо. Воспитывалась Зайка у живших по соседству дедушки и бабушки, которые души в пей не чаяли и полностью освободили маму от родительских хлопот. Леля забегала к дочке, баловала её часок-другой и не без облегчения уходила «в личную жизнь».

Работала Леля в газете и была на хорошем счёту, так как добывала материал там, где пасовали самые опытные репортёры: ей ничего не стоило взять интервью у самого высокого начальства или даже у тренера футбольной команды за полчаса до начала игры — подвиг, который могут оценить только журналисты. Все, в том числе и сама Леля, понимали, что дело не в особом её журналистском таланте, а в эффектной внешности, но красота, как пошутил один её коллега, у человечества котируется наравне с талантом, а оплачивается ещё выше.

Держалась Леля независимо. Стройная, спортивного склада молодая женщина, всегда аккуратно и модно одетая, она приковывала к себе мужское внимание. Коллеги пытались за ней ухаживать, но с течением времени бросали это бесперспективное занятие, потому что каждого очередного поклонника она выставляла на всеобщее посмешище. Одни поклонники сделали вывод, что «эта разводка — типичная рыба», другие предпочитали молчать,

побаиваясь её предезкого языка.

И Леля, оставленная в покое сослуживцами, жила в своё удовольствие. Чтобы не давать повода для сплетен, вращалась в далёком от журналистики кругу; дорожа своей свободой, избегала серьёзных связей. Поэтому Алексей, без памяти влюбившийся в неё, вскоре попал в немилость.

С другой стороны, она не хотела его терять: Алексей, цельный и чистый человек, принадлежал, по её мнению, к людям, в которых не было и тени пошлости.

Осознав, что взаимностью, он не пользуется, Алексей продолжал любить Лелю с достоинством, не унижаясь: ничем не обнаруживал ревности, не настаивал на свиданиях. Зато нашёл способ заставить саму Лелю искать встреч: уходил гулять с Зайкой, которая обожала «дядю Лёшу», и Леле, чтобы увидеть дочку, приходилось бегать по скверу и разыскивать их. Найдя, она сурово отчитывала Алексея, а тот говорил: «Зайка, с кем ты хочешь гулять, с мамой или с дядей Лёшей?» Зайка, конечно, кричала, что с дядей Лёшей, потому что он рассказывает интересные сказки, а мама только целует.

Леля могла лишь догадываться, чего стоила Алексею его весёлость и корректность, и понимала, что на полдороге он не остановится. Она привыкла к своему образу жизни, превыше всего ценила независимость и не желала с ней расставаться даже ради очень хорошего человека, каким, безусловно, был Алексей. Выходить замуж, погружаться в домашние заботы ей решительно не хотелось. Поэтому, исподволь готовясь к неизбежному объяснению, она искала такие слова, чтобы не ответить ни «да», ни «нет», чуточку обнадёжить Алексея, отправить его на год зимовать, а там видно будет. И когда тот разговор состоялся, Леля, сделав для виду паузу, сказала, что, быть может, примет предложение, если Алексей не пойдёт в экспедицию. Он долго молчал, а Леля, похолодев, ждала: а вдруг согласится? И облегчённо вздохнула, услышав:

— Ты в самом деле думаешь, что я такой подонок?

— Извини меня.

Он кивнул, и об этом неприятном эпизоде они больше не вспоминали.

В первые дни на «Оби» Алексей буквально не находил себе места, пока не познакомился с Валерой и не подружился с ним. К тому же Леля вскоре прислала тёплую радиogramму, из которой явствовало, что Зайка по нему скучает и ей, Леле, он тоже не безразличен. Эти несколько строк Алексей выучил наизусть, и хотя они Лелю ни к чему не обязывали, ему уже казалось, что она будет его ждать.

К этому времени относится и знакомство Алексея с походниками Гаврилова. Впоследствии Валера ему рассказывал, что приняли его с первого раза и единодушно — редкий у походников случай, обычно они долго «выдерживали» нового человека, прежде чем допустить его в свою среду. Даже Сомов, из которого слово было трудно вытянуть, и тот сказал: «Бери его в поход, батя, не промахнёшься. Не знаю, какой он врач, а выдюжит, точно говорю».

Поначалу Гаврилов отнёсся к Алексею с прохладцей и недоверием — красив, сукин сын, девки небось на шею вешаются, ну его ко всем чертям; но затем самокритично признал, что застарелая его неприязнь к красивым мужчинам в данном случае оснований под собой не имеет. Алексей понравился ему открытой улыбкой — плохие люди так не улыбаются, искренностью, юмором и совершенным неприятием цинизма — сам батя никому не спускал сальных анекдотов и скользких шуточек. Понравился ему Алексей и тем, как он сразу себя поставил: решительно отказал Попову, когда тот попытался выклянчить бутылку спирта, резко осадил Мишку Седова, которому захотелось узнать кое-какие подробности из личной жизни доктора, и вообще держался самостоятельно.

Взял Гаврилов Алексея в поход и не пожалел об этом. Всю дорогу доктор не давал ребятам скучать. Сначала сагитировал братьев Мазуров и под общий смех бегал с ними босиком по снегу — «в целях профилактики простудных заболеваний», а когда к «тройке психов» присоединился ещё пяток энтузиастов, затеял и вовсе не слыханное дело: баню.

Из всех благ, которых лишены походники, чаще всего они вспоминали свою

замечательную парную в Мирном. Донельзя грязные, заросшие, в заскорузлом от солёного пота белье, они мечтали о бане весь путь до Востока, и затем снова месяц с лишним — до Мирного. Когда становилось невтерпёж, надевали свежее белье, а иногда обливались по пояс тёплой водой. Алексей же устроил баню настоящую: принёс в тамбур несколько ведер горячей воды, донага разделся в балке, намылился, выпрыгнул козлом на сорокаградусный мороз и дико заорал: «Лей!» В считанные секунды, чтобы мыло не успело прикипеть к телу доктора, Петя опрокинул на него одно за другим два ведра воды, и Алексей стремглав бросился в балок — вытираться. Следующим мылся Петя, и здесь уже зрители не сплеховали: не валялись в изнеможении на снегу, как в первый раз, а фотографировали и снимали на киноплёнку длинного и тощего, как жердь, голого повара. Несколько дней посмеивались, но все менее жизнерадостно, потому что куда больше поводов смеяться было у Алексея и Пети.

В конце концов батя не выдержал, остановил поезд на днёвку, и по докторскому методу выкупался весь личный состав. Снятый на плёнку фильм о походе по возвращении домой смонтировали и прокрутили у бати на даче. Когда пошли кадры с баней, жены возмущённо отворачивались, но все хохотали до упаду.

Тогда, в первом походе, вечерами собирались в салоне «Харьковчанки»: беседовали, пили чай с вареньем и слушали, как Алексей поёт под гитару романсы на стихи Пушкина и Блока, Есенина и Пастернака. «Я вижу берег очарованный», «Свеча горела на столе, свеча горела» Алексей сам положил на музыку и радовался тому, что стихи таких «сложных» поэтов, как Блок и Пастернак, так хорошо воспринимаются ребятами. Вечера эти стали традиционными, затягивались допоздна, и Гаврилов обычно затрачивал немало усилий, разгоняя сынков «по спальням». А когда по той или иной причине — из-за тяжёлого ремонта, больших перегонов и прочего — собира— ться не удавалось, походники откровенно сожалели об этом.

Потом была долгая зимовка в Мирном, серые для врача будни — почти никакой практики, одни профилактические осмотры; томительное ожидание корабля и ещё более томительное полуторамесячное возвращение домой. Прорвался сквозь ревущую, бушующую толпу на причал, расцеловал родителей, друзей, чуть не вдвое выросшую Зайку и, ошеломлённый, пожал протянутую Лелей руку.

Больше года мечтал об этой встрече, зачитал до дыр десятки синих листочков, выискивая скрытый смысл, намёк в профессионально гладких рубленых строчках, каждую ночь видел Лелю во сне и получил высокую награду — рукопожатие. Понял, что этим жестом Леля определила их будущие отношения, но понять — не значит примириться. Решил объясниться в последний раз и получил ожидаемый отказ.

Истерзанная мужская гордость призвала его поставить на своей любви крест. Стал прощаться — навсегда. В Лелиных глазах мелькнуло откровенное сожаление, но удерживать Алексея она не удерживала, и он ушёл. Сутками работал, подменял всех коллег, даже просил их об этом одолжении. Выжигал работой свою неудачную любовь, не давал себе ни дня отдыха. Только Зайку было жалко, ей ведь не понять, почему дядя Лёша больше не приходит, почему врёт в телефонную трубку, что очень некогда. По Зайке скучал, привык видеть в ней родную дочь, однако и эту святую любовь к ребёнку приходилось в себе убивать.

Прошло больше года, и вдруг поздно вечером — звонок от Лелиного отца: извини, мол, Алексей, догадываюсь, как и что, не слепой и не глухой, но у внучки температура под сорок, а Леля на юге. Не раздумывая, сел в «Москвич», рванул, как сумасшедший, по опустевшим улицам к знакомому детскому доктору, вытащил его, сонного, из постели и чуть не в пижаме привёз к больной Зайке. Оказалось, скарлатина, ничего страшного, если не допустить осложнений. Взял на неделю отпуск, с утра до ночи просиживал у Зайкиной кровати, только спать домой уезжал.

Лелю просил не беспокоить, пусть отдыхает; хотел, но ещё больше боялся её увидеть.

Леля появилась неожиданно, о болезни дочери ей сообщила прилетевшая из

Ленинграда знакомая. Вбежала, слегка растерялась, увидев Алексея, но виду не показала.

Вечером, когда Алексей собирался уходить, спросила как ни в чём не бывало:

— Занят сегодня?

— Не очень.

— Зайдём ко мне? Хочешь?

— Гонорар?

— Глупый ты, Алёша... По-прежнему все или ничего?

— Осенью ухажу в экспедицию, — невпопад пробормотал Алексей.

— Это обязательно?

— Да.

— Хорошо, все расскажешь у меня.

Бросает человек курить, изнывает, терпит месяцами, а потом смалодушничает, затынется разок — и все насмарку... Не устоял, побежал, как дворняжка, которую поманили костью! И снова завертелась карусель, и снова все стало как было.

В одну из последних встреч Алексей сказал:

— Мне уже под тридцать, да и ты ненамного моложе. Наверное, пора определяться в жизни. Ответь прямо: я у тебя один или...

— Мы договорились об этом друг друга не спрашивать.

— Тогда другой вопрос, полегче: ты видишь перспективу в наших отношениях?

— Ещё не знаю.

— Что ж... Понимаешь, Леля, за время, что мы с тобой не виделись, я многое передумал... Мне было трудно без тебя и Заики и будет трудно, но сейчас я уйду и больше не вернусь. На этот раз твёрдо, Леля, не вернусь! Поэтому всё-таки ответь.

Леля закурила.

— Я подумаю.

— Через неделю я буду далеко.

— Обещаю: если выйду замуж, только за тебя.

— Для меня этого мало.

— А для меня — слишком много.

Оставшееся до ухода в море время они не расставались, и Алексей простился с Лелей, почти уверенный в том, что прощается с будущей женой. Он убедил себя, что нельзя требовать от неё слишком многого, ей необходимо время, чтобы снова решиться на столь ответственный, однажды уже неудачно сделанный ею шаг. Ведь не враг она, в конце концов, самой себе и своей дочери, красота и молодость проходят быстро, оглянуться не успеет — а вокруг пустота.

И вот уже полтора месяца от Лели нет радиogramмы. На его четыре — ни одной ответной!

Когда Борис выходил на связь с Мирным, Алексей думать ни о чём не мог: замирал в ожидании, что вот-вот радист обернётся, подмигнёт и начнёт вылавливать из эфира Лелины точки-тире. Но за последнее время Борис кое-что понял и уже не подмигивал, потому что радиogramмы доктору шли сплошь от родителей, друзей, сослуживцев — и только.

За час до подъёма Алексей встал по звонку, растопил печку и поставил на спиртовку стерилизатор. Присел у капельницы, смотрел на раскалённый таганок, на падающие и мгновенно вспыхивающие капли и думал, поглаживая густую чёрную бороду.

И в который раз пришёл к выводу, что всему виной его податливая, никчёмная воля. Будь он настоящим мужчиной, не допустил бы двух этих ошибок — с Лелей и батей.

Не имеет права мужчина становиться игрушкой в руках женщины! Если она любовь свою дарит, как гривенник нищему, — отвергал её, не бери! Ладно, Леля — его личное дело, сам принимал милостыню — самому теперь и расплачиваться. Но Гаврилов... Зачем выпустил его из Мирного? Ведь знал, точно знал, и кардиограммы подтверждали, что никак нельзя было батю идти в поход. Нажал батя, заставил написать: «Здоров»... Ну, закрыли бы на год станцию Восток — мир бы перевернулся?

И вот результат: не жизнь, а сплошные вопросительные знаки. Из-за него самого, ставшего тряпкой мужчины и врача, поступившегося своей профессиональной совестью. А ещё о клятве Гиппократы посмел Валерке говорить, пустозвон!

Так и сидел Алексей, будоражимый этими невесёлыми мыслями. Нужно лгать батю, изворачиваться, но удержать его в постели. В постели, на которой его, тяжелобольного человека, подбрасывает и швыряет, как горошину в погремушке! Нужно изворачиваться и объяснять ребятам, почему Петя стал подавать им жалкие крохи гуляша вместо блюда с горой бифштексов. Ограничивать в еде измождённых, доработавшихся до чёртиков людей!.. Сорок банок молока осталось — только для бати, Валеры и Сомова, не забыть сказать Пете; двенадцать банок компота и белый хлеб — для них же, кур семь штук — батю на бульон...

И вновь, как бывало, мысли сбились в сторону, а рука сама собой полезла в карман кожаной куртки и вытащила сложенный вдвое листок — последнюю радиограмму:

«Зайка скачет её маму как волка ноги кормят обе вспоминают полярного бродягу Леля». Холодом повеяло на Алексея от этих строк...

— Не нравишься ты мне, — неожиданно послышался голос Гаврилова.

— Сам себе не нравлюсь, — хмуро ответил Алексей, пряча листок. — Поспи ещё минут двадцать, батя, ерунда все это.

— Ствол закупоришь — пушку разорвёт, сынок. А человек не железный. Зря в себе держишь.

— Стыдно мне, батя! — вырвалось у Алексея. — Все вкалывают до сто седьмого пота, уродуются, а я руки, здоровье своё берегу...

— А вот это и вправду ерунда. Руки испортишь — ногами нас лечить будешь? Топливо разогреть и палец в трак вколотить мы и без тебя сумеем. Вот ежели поредует отряд, некому будет сесть за рычаги — тогда настанет твой черёд.

— Тяжело ребятам в глаза смотреть...

— Верю. Был у меня такой случай. Ввязалась бригада в неравный бой, а мой батальон комбриг в резерве оставил. Я своими глазами видел, как друзья горели, а пришлось отсиживаться, ждать приказа. Тоже было стыдно, но стерпел, понимал, что так нужно. И ты стерпи. Считай, что в резерве: потребуется — ударишь!

— Хотел бы возразить, да не найду как...

— И не ищи. И в сторону от разговора не уходи, потому что бездействие твоё — мнимое. Любят тебя ребята и печалются, что ты скис. Интересовался, знаю, что Леля не пишет. И утешать не стану: плохо, что не пишет. Но одно скажу: каждый мужик должен хоть раз в жизни сердцем понять, какая это злая штука — любовь. Кто не пережил этого раза — многое потерял, не познаешь горечи — не оценишь сладости. Если ты женщину не завоевал с боем, а она сама, как осеннее яблоко, в руки твои упала, — знай, что одной своей стороной жизнь от тебя отвернулась.

— Батя, — сказал Алексей, — раз пошла такая философия... Как считаешь, не сам ли я виноват?

— Начинаешь правильно.

— Ты говоришь — с боем... А если я сбежал с поля этого самого боя? Первую экспедицию простила, хотя и не сразу. Вторую, наверное, не простит. Женщина вообще не склонна искать оправданий для покидающего её мужчины — вне зависимости от мотивов, которыми он руководствуется. Она видит одно: её оставили, ей предпочли что-то другое. Верная жена поймёт, невеста потерпит, но женщина, которую ещё нужно завоевать, почувствует себя оскорблённой. Не на войну ведь ушёл и не кусок хлеба насущного добывать!.. Есть логика?

— Продолжай.

— На сей раз — она это знала — из клиники меня отпустили с трудом. Сочувственно отнеслись, так сказать, к моей благородной миссии, но и сожаление выразили: кандидатская диссертация на выходе, научные перспективы, а идёшь, мол, на фельдшерскую работу. А раз так, подумает она, есть ли смысл делать на него ставку? Я молода и красива, никем и ничем

не связана, многие мужчины пойдут на все ради меня — не преувеличиваю, батя, пойдут! А он бросает любимую женщину и многообещаю — щую работу из-за прихоти... Есть логика?

— Сам-то как считаешь?

— Запутался, батя.

— Ладно, давай распутываться... В юбке ходит твоя логика! За женщину ты рассудил здорово. Нет, не за женщину — за дрянную, расчётливую бабу! Грош цена и бабе такой и логике её. Не обижайся, сынок, мозги у тебя набекрень: о главном не подумал. Достойна ли тебя она? Вот главное. Если она такая, как ты изобразил её в своих рассуждениях, значит, не достойна! Значит, не любит, и никуда от этого не спрячешься. Не в Крым ты уехал на пляжах поджариваться и не па фельдшерскую работу пошёл, а жизни товарищам сберечь. И раз мы ещё дышим — сберёг, сукин ты сын! Любишь её — люби, сердцу не прикажешь. Но не оправдывай! Знает она, не может не знать, что у нас было за семьдесят, и, зная это, трех строчек тебе не написать?! Да где же твоя мужицкая гордость?

Гаврилов перевёл дух.

— Вот что, сынок... Потерпи, недолго осталось. Ну, две недели потерпи, родной. И вот тебе мой совет. Не пиши ей больше ничего, узнай только через кого-нибудь, здорова ли. Но если жива-здорова и молчит, забудь, выкинь из сердца прочь! Не такие раны рубцуются...

— Тошно мне, батя...

— Не видел бы, не лез бы в душу... Страдай, но иногда хоть вслух страдай. Не держи в себе, сынок. Не мне, старому пню, — Валере выплеснись.

— Устать мне надо, батя, телу тяжело — душе легче...

— Хорошо. Заменишь Васю, пусть ещё передохнет. Только в ремонты не лезь, береги руки. Обещаешь?

— Спасибо тебе, батя.

— Ладно. Время, поднимай ребят.

ПУРГА

Случилось то, чего Гаврилов боялся больше всего: на поезд налетела пурга.

В этом районе континента метели бывают часто и сопровождаются они обычно резким температурным скачком. Так тепло на обратном пути ещё не было — пятьдесят один градус ниже нуля. Прячась от ветра за стальные бока машин, люди дышали увлажнённым и, казалось, подогретым воздухом.

— Ручьи бегут, батя! — жизнерадостно докладывал Тошка. — Птички поют!

А Ленька, отцепив от стенки салона давно заброшенную гитару, перебирал её струны и проникновенно гудел: «И оттаивает планета, и оттаивает душа...»

«Эх, вы, телята, — хмуро думал Гаврилов, глядя исподлобья на юных своих водителей, — чем питать их будете, свои оттаявшие души? Задует недельки на две — на такую диету сядете, что во сне пообедаете и песнями поужинаете».

Поезд стоял. Впустую — без движения вперёд расходовались скудные запасы еды, на один лишь обогрев уходила солярка.

Но не только этим навредила пурга. На Пионерской зимует ещё одна цистерна, а набить животы можно и чаем с сухарями.

Солярка — что. Солнце уходило!

В марте о штурмане Попове походники не вспоминали. Ну, дал батя свободу выбора, и Серёга выбрал самолёт. Все правильно, по закону. Был бы приказ всем до единого возвращаться санно-гусеничным путём — другое дело, хочешь не хочешь — полезай в тягач. А раз приказа не было, то Серёга воспользовался своим законным правом выжить и спокойно улетел в Мирный, спокойно потому, что Гаврилов и Маслов знали штурманское дело и могли вести поезд сами. Так что служебных претензий К Попову никто не предъявлял.

На пути от Востока до Комсомольской штурман вообще был не нужен: все пятьсот

километров тянулась отчётливо видимая колея, и поезд шёл по ней без риска заблудиться. Колея различалась, хотя и слабее, ещё километров сто за Комсомольской. К тому же здесь частенько встречались гурии — сложенные в пирамиды пустые бочки из-под масла и горючего. Заправляясь на стоянках, походники разных экспедиций сооружали эти гурии и наносили их на карты в качестве ориентиров.

А дальше, до самого Мирного, колея отсутствовала, так как здесь, на каменно-твёрдой поверхности спрессованного снега, многотонные тягачи оставляли лишь чуть заметный след, заносимый первой же пургой. И это обстоятельство сразу же делало штурмана главной фигурой похода. «Из солдата в генералы!» — шутили водители.

Знай Гаврилов, что вместо обычного — месяца с небольшим обратная дорога растянется вдвое, ни за что не расстался бы с Поповым. Замечательный он штурман — Сергей Попов, не станцию, иголку разыскал бы в Антарктиде! У него и обучались Гаврилов и Маслов основам штурманского ремесла — на всякий случай: в походе у каждого специалиста должен быть дублёр.

Отпустил Гаврилов Попова, уверенный, что обойдётся без него. Отпустил, не подумав о том, что все прежние походы совершались в полярный день, когда чуть не круглые сутки светило солнце, и не было у штурмана нужды спрашивать курс у звёздного неба. В голову не приходило бате, что во второй половине апреля поезд ещё не подойдёт к Пионерской.

Звезды, самые точные на свете ориентиры, ничего не говорили ученикам штурмана Попова, не понимавшим великого смысла небесной механики.

Вот и получилось, что, когда исчезла колея, своё местоположение в пространстве походники могли определять только по солнцу. Оно пока ещё не окончательно покинуло континент, но с каждым днём укорачивало визиты, честно и благородно предупреждая людей о том, что им нужно поторопиться, ибо через считанные недели на Антарктиду опустится полярная ночь.

И каждый день прятавшей солнце пурги воровал у походников шансы на благополучное возвращение домой.

Пурга бушевала четыре дня. С наветренной стороны тягачи занесло по крыши кабин, снегом забило силовые отделения, засыпало сани. Но люди отоспались и отдохнули, и это было хорошо. И холода стали выносимыми для человека: пятьдесят с небольшим — щедрый подарок природы.

Когда пурга наконец затихла, всю ночь авралили, очищали от снега редукторы подогревателей, вытяжные трубы, сани — не столько тяжёлая, сколько нудная и хлопотливая работа, ненавидимая всеми водителями.

Много бед натворила эта пурга.

Первая и главная беда — четыре безвозвратно потерянных дня, за которые Гаврилов планировал оставить позади Пионерскую я пройти часть зоны застрогов. Но он хорошо помнил, как в одном из походов пурга целых шестнадцать дней держала поезд на приколе, и потому был даже доволен, что отделался так дёшево.

Другая беда заключалась в том, что пришлось примерно на пятую часть урезать и без того далёкую от нормы закладку в котёл мяса и масла, и основной едой походников стала гречневая каша, сдобренная лишь запахом говяжьей тушёнки. А в походе, как известно, людям следует есть особенно много жиров и мяса, чтобы сохранить работоспособность и возместить организму повышенный расход мускульной энергии.

Третью беду можно было бы и не называть бедой, ибо если люди смеются над своей неудачей, она не очень страшна. В пургу дежурные по несколько раз в сутки забирались на крышу жилого балка — прочистить от снега вытяжную трубу: не очень приятное занятие, когда ветер пробирает до костей. Одновременно они должны были отбивать от стенок трубы золу, чтобы её выбросило наружу с тёплым воздухом, по, как выяснилось, не делали этого, надеясь один на другого. И под самый конец пурги, когда Петя настужь распахнул дверь тамбура, всю накопившуюся золу сильным сквозняком выбило из трубы в балок. Помещение, личные вещи, постели мгновенно покрылись слоем сажи, и обитатели балка,

перемазанные, как черти, стремглав ринулись на свежий воздух. Пошутили, посмеялись, а потом принялись приводить себя и балок в порядок.

И ещё одну большую беду принесла с собой пурга, но о ней походники узнали через сутки.

— Ах ты, сукин сын, — бормотал Гаврилов, натягивая на плечи шлеи штанов. — Ах ты, дохлятина паршивая...

Стал натягивать унты, удивляясь тому, что дрожат пальцы и бешено стучит сердце. Уловил укоризненный взгляд Валеры, перевёл дух и засмеялся.

— Вспомнил, как из госпиталя бегал, — пояснил вопросительно взглянувшему Валере. — У нас на всю палату был один комплект обмундирования, под матрацами прятали. Тот, чья очередь подходила, вечером спускался вниз по пожарной лестнице, прямо из окна. Сейчас, гляди, брюхо опало, можно вдвоём в штаны влезть, а тогда каптёры вечно ругались: что ни надену — лопается по швам.

— Ты мне, батя, зубы не заговаривай, — неодобрительно сказал Валера. — Доктор разрешил вставать?

— Дождёшься от них, дармоедов, — проворчал Гаврилов, застёгивая молнию каэшки. — Перестраховщики они все, слушай их больше. «Куриный бульончик с сухариками!» — передразнил он кого-то.

— Тогда и я встаю. — Валера начал вылезать из мешка.

— Лежать! — прикрикнул Гаврилов. — Не по чину смел, сержант. Как с начальством разговариваешь?

— Виноват, товарищ гвардии капитан.

— То-то. Кроме шуток, сынок, пойду, поколдую с Борькой. Кончились наши шутки.

В одном повезло: ушла пурга, выглянуло солнце. Водители расчищали от снега машины, Петя и Алексей хозяйничали на камбузе, а Борис застыл над теодолитом. Пока батя болел, радист поднаторел в штурманском деле и в общем-то справлялся, но лёгшая на его плечи ответственность очень угнетала его, он до смерти боялся ошибиться; уж слишком велика была бы цена такой ошибки. Ведь бывали случаи, когда из-за неопытности штурмана поезда многие часы, а то и дни блуждали по куполу в поисках станции — роскошь, которую походники никак не могли позволить себе теперь. И Борис не скрывал радости, когда появился батя.

Стали священнодействовать у треноги вдвоём. Засекли точно время по Гринвичу, вычислили угол между горизонтальной прямой и солнцем и по таблице астрономического ежегодника определили точку, в которой находился поезд. Точка эта, однако, являлась приближённой, и дважды, пока солнце не скрылось, её уточняли.

Затем наметили курс. В правом нижнем углу приборной доски «Харьковчанки» за стеклянным кружком светился самолёт. Это и был указатель курса, конец ниточки, по которой поезд тянулся к Мирному. Задан курс — и водитель «Харьковчанки» вместе со штурманом должны поддерживать его, не думая больше ни о чём до остановки. А на остановке следует вновь уточнить курс, так как в пути машину трясёт, сбивает с направления, и отклонение даже на один градус за перегон уводит поезд в сторону на несколько километров.

По проложенному курсу пошли вперёд — днём, впервые за последние полтора месяца: стало теплее, и уже не было необходимости запускать моторы в дневное время, когда температура на несколько градусов выше, и двигаться поэтому ночью. Шли без отдыха шестнадцать часов и ранним утром добрались до Пионерской.

Гаврилов не покидал штурманского кресла и вывел поезд на редкость точно: Игнат чуть не врезался в «раскулаченный» тягач, намертво вросший в сугроб неподалёку от входа в домик. И сама по себе удача была приятна, и времени выиграли целые сутки: караулить солнце не надо — координаты Пионерской имеются на всех картах.

Подошли к домику и, быстро расчистив вход, стали ждать добрых вестей от Бориса. Тот уже бывал в этом жильё, заброшенном людьми много лет назад, и знал, что и где там

находится. Обвязавшись капроновым шнуром, он метра два прополз вниз на животе, расчистил снег у внутренней двери и проник на камбуз. Включил фонарик, осмотрелся. На полке лежал десяток мороженных гусей — драгоценная находка. Кроме них, Борис побросал в мешок три пачки окаменевших макарон, банку витаминов в драже и осторожно сунул в карман брошенный в углу окурочек «Казбека». Убедившись, что больше разжиться нечем, подёргал за шнур, и осторожно, чтобы не вызвать обвала, полез обратно.

Спали сидя, но дождались упавшей с неба гусятины — на радостях Гаврилов разрешил жарить две тушки. Размяли, высушили табак из окурка, затаились по разу и легли отдыхать на четыре часа.

Пришли на Пионерскую пять машин, а покинули станцию четыре.

Когда Ленка, разогрев двигатель, нажал на стартер, послышался скрежет рвущейся стали. Не по ушам — по сердцу царапнул этот скрежет. Прежний Ленка снова газанул бы — авось пронесёт, но за одного битого двух небитых дают, не тот стал Савостиков. Выскочил из кабины, замахал руками, созвал товарищей.

Быстро нашли то, что искали. Гаврилов сказал два слова Игнату, тот взял фонарик и полез под тягач. Посветил себе, пошуровал рукой, выкарабкался обратно.

— Ну? — спросил Гаврилов. Игнат выругался.

— Что случилось? — излишне засуетился Ленка, и глаза его были виноватыми, как у нашкодившей собаки.

Гаврилов поднялся в кабину, нажал на стартер, прислушался.

— Все! В утиль! — Игнат опустил низ подшлемника, сплюнул и снова выругался. — Ты, Жмуркин, не запускайся пока.

— Почему? — удивился Тошка.

— А потому! — грубо ответил Игнат. — Венец — делу конец, правда, Савостиков?

— Ты не намекай! — повысил голос Ленка. — Не намекай! Понял?

— Оставь, Игнат, — вмешался Давид.

— А чего он намекает? — не унимался Ленка. — Чего прилип?

— А то, что где ты, там и прокол!

— Цыц, щенячье племя! — рыкнул на них Гаврилов, спускаясь. — Тошка не запустился?

— Не успел, батя, — сунулся к нему Тошка.

— Твоё счастье, что не успел!

— Разговариваешь, батя, — с упрёком сказал Алексей. — Обещал ведь.

— Поболел, хватит! — Гаврилов потряс кулаками. У, гад ползучий! Костюм небось гладит, сволочь, регалии цепляет, чтоб с фасоном на причал сойти!..

— Не заводись, батя, — тихо проговорил Алексей. Пошли в тепло.

— Сам иди!.. — заорал Гаврилов. — Игнат, говорил Синицыну про отверстия?

— Говорил, батя, вместе с Валерой, не сомневайся.

— А что толку, что говорил? Проверил?

— Не проверил, батя...

— Почему не проверил?.. Молчишь?.. — Гаврилов отдышался. — Ладно, молчи, утешать тебя не стану. Чего глазее, время теряете? За дело! Вася, осмотри с Тошкой «неотложку». Сани, Давид, цепляй к себе. Игнат машину раскулачь, аккумуляторы не забудь, соляр, масло слей. Брезентом укрой хорошенько, в сентябре вер немая, отремонтируем либо возьмём на буксир. Все ясно?

И пошёл в «Харьковчанку».

А с Ленкиным тягачом случилась такая история. В пургу от снега силовое отделение убересть невозможно: как его ни закрывай, через невидимую глазом щёлочку набьёт целый сугроб. И потому в днище тягача, откуда метёлкой снег не выгребешь, походники прожигают отверстие для стока воды. Если же этого отверстия нет, то снег, растаяв от тепла работающего двигателя, на остановках превращается в лёд и прихватывает венец маховика, как бетон. И тогда стоит водителю нажать на стартер, как с венца летят зубья. Так

получилось у Леньки.

Когда Гаврилов с Игнатом перегнали по припаю в Мирный новые тягачи, Синицын должен был приказать сварщику выжечь отверстия. Не приказал — и вот тягач превратился в никому не нужную рухлядь. Чтобы сменить венец, нужно разобрать и снять двигатель, отсоединить коробку перемены передач от планетарного механизма поворота и так далее — словом, разобрать и вновь собрать чуть ли не полмашины.

За сутки и то не справишься с такой работой.

Проканителится Тошка, не успел завести Балерину «неотложку», не то ушли бы с Пионерской на трех машинах.

Вырубили траншею, Давид залез под днище и газовой горелкой выжег отверстие для стока воды.

Поклонились Пионерской, последней станции на пути в Мирный, и двинулись вперед — в проклятую богом и людьми зону застрогов.

БРАТЯ МАЗУРЫ

«Ну, держись, милая!» — подумал про себя Игнат, и «Харьковчанка» с лязгом и грохотом рухнула вниз с метровой высоты.

— Влево уходишь! — прикрикнул Гаврилов, поудобнее устраиваясь в штурманском кресле. — Держи по курсу...

Триста семьдесят километров осталось, из них двести пятьдесят — дорога без дороги. Заструги! Чудо природы, красота несказанная — в кино бы ими любоваться. Учёные говорят — аэродинамика, закономерное явление: стоковые ветры с Южного полюса постоянно дуют здесь в одном направлении и, как скульптор резцом, вытачивают заструги, острыми концами своими нацеленные на Мирный. Толстые моржовые туши застрогов достигают шести—семи метров длины и полутораметровой высоты. И никуда от них не денешься, стороной не обойдёшь: весь купол в застругах, как в противотанковых надолбах. Хочешь не хочешь, а вползай на них, обламывая острую переднюю часть и греми вниз.

Тягач падает так, что душа из тела вытряхивается, а потом сани семитонные догоняют и поддают ещё разок. Зубы лязгают, голова от шеи отрывается, не удержишь её — бац подбородком о собственные колени, и такие искры из глаз сыплются, что никаких бенгальских огней не надо.

Кажется, все предусмотрели, все в машине закрепили, а загремели с полутораметрового заструга — чемодан выскочил из-под нар, запрыгал, как живой. Укروтили чемодан — гитара сорвалась со стены, запела, семиструнная.

Водителю хорошо, он видит, когда и куда падает, а каково в салоне или в балке радисту, доктору, повару? Щебню в камнедробилке уютнее. Валера и Алексей с часок цеплялись руками и ногами за полки, а потом доктор закутал хорошенько больного и перебрался с ним в кабину к Давиду. Петя тоже недолго искушал судьбу — напросился к Сомову. Тошка и Ленька тряслись вместе в кабине Валериного тягача, и лишь один Борис мужественно держался в своём кресле.

Нигде на всем ледяном куполе техника так не страдает, как в этой злосчастной зоне: лопаются траки и летят пальцы, трещат стальные водила и сводит судорогой серьги прицепного устройства. Тягачу ведь тоже больно, когда его швыряет, у него тоже есть нервная система, восстающая против издевательств: не бессловесная металлическая болванка, а умный живой механизм — артиллерийский тяжёлый тягач, АТТ. Вот и приходится часами стоять, уговаривать его, утешать и подлечивать — нигде так долго, как в зоне застрогов.

Тем ещё плоха зона застрогов, что идти по ней нужно медленно, не на второй, а только на первой передаче.

Четыре-пять километров в час — это ещё здорово, а тридцать километров за перегон — и вовсе большая удача.

Бывает, что метров на двести заструги исчезают, но чаще всего они попадают через каждые десять — пятнадцать метров, а то и вовсе идут один за другим, как волны па море.

Хуже всего «Харьковчанке»: она первой обламывает заструг, остальные тягачи держатся след в след за флагманом, и падать им чуть легче. Душа болит у походников за «Харьковчанку». Лучше бы шла она позади, но нельзя: штурманская машина, курс прокладывает.

А Игнат радовался застругам — не потому, что испытывал удовольствие от сумасшедшей пляски, выворачивающей суставы у машин и людей, а потому, что откладывался неизбежный, исключительно неприятный разговор с батей. Какой теперь может быть разговор, если рта не откроешь!

Игнату было стыдно: опростоволосился. Какого черта себя обманывать — из-за него, Игната, погиб тягач! О пустяке забыл: проверить, спросить у Приходько, синицынского сварщика: «Дырки выжег?» И не пришлось бы бросать машину, с которой краска ещё не облупилась.

Стыдно! В пургу три дня назад, когда батю снова схватило, он, отдышавшись, позвал: «Слушай и мотай на ус. Случится что — будешь за меня. Валера в курсе. Борьку береги, пылинки с него сдувай, в его руках судьба похода. Выйдешь к сотому километру — стой день, неделю, пока не определишься и не найдёшь ворота с гурием. Там двенадцать бочек хорошего топлива, понял? Точно знаю. На нем и дойдёшь. Если с техникой что — кланяйся Сомову, без него ни шагу. Ну, не дрейфь, выдюжишь, пора, сынок, на ноги становиться».

Встал на ноги, называется... Ребятам в глаза стыдно смотреть, осуждение в них и насмешка. Один Давид потрескавшиеся губы в улыбке кривит, ободряюще подмигивает. Так Давид — он не то что за тягач, за смертный грех Игната оправдает.

* * *

Братишка, родной...

Студёной зимой сорок первого года немецкие автоматчики с овчарками гнали через городок колонну измученных людей. Держась друг за друга, из последних сил плелись старики, прижимая к себе детей, шли женщины, скудные пожитки тащили на себе подростки. Охранники ногами и прикладами подгоняли отстающих и покрикивали на высыпавших из домов жителей, молча смотревших на страшное шествие. Кое-кто пытался бросать в колонну куски хлеба, но немцы натравливали овчарок на тех, кто хотел поднять подавание.

Обречённые увёртывались от ударов, кричали, что их гонят из Минска — пятьдесят с лишним километров, называли свои фамилии — вдруг кто-нибудь запомнит, а женщины в безумной надежде протягивали жителям детей. Но охранники зорко следили за порядком, и отвлечь их внимание удалось лишь раз — было ли то обговорено заранее или произошло случайно, никто так и не узнает. Три девушки в колонне неожиданно начали скандировать: «Смерть фашистам! Товарищи, братья, держитесь, наши вернутся, смерть фашистам!» На них кинулись охранники, и в этот момент с другой стороны колонны одна из женщин выбросила в толпу завернутого в одеяло ребёнка.

Проморгали немцы, не заметили, и эта оплошность сохранила жизнь годовалому существу, приговорённому Гитлером к смертной казни. Мужские руки поймали свёрток, и Трофим Мазур в оттопыренном кожухе выбрался из толпы и направился в дом. Взошёл на крыльцо, не удержался — оглянулся, увидел в немой молитве протянутые к нему руки, кивнул и скрылся за дверью.

— Ну, Клавдия, — сказал он жене, кормившей грудью сына, — суди не суди, а дело сделано...

Развернул одеяло, бережно приподнял тарашившего синие молочные глаза младенца и положил его жене на колени.

Так у Игната Мазура появился брат-близнец по имени Давид. Карандашом на пелёнке

была нацарапана и фамилия, но прочесть её не удалось.

Через несколько дней поздним вечером к Мазурам вломились два полицаи. Трофим знал их, на спиртзаводе раньше работали. Заныло в груди — прямо к люльке направились полицаи.

— Который жиденыш?

— Брось шутковать, — насупился Трофим. — Русская баба оставила, беженка из Минска.

— Христьянин, хоть икону с него пиши. — Гришка с ухмылкой щёлкнул по носу спящего ребёнка. Давид всхлипнул, заплакал. — Приказа не знаешь, к стенке захотел за укрывательство?

— Не дам! — Трофим оттолкнул полицаю, загородил собой люльку. — Несмышлёныш ведь, кроха. Полицаи щёлкнули затворами.

— Гришенька, Пахом, выпьете с морозу? — засуетилась Клавдия. — Бутылочку поставлю, огурчиков!

— Мужика твоего кой-куда отведём, а потом выпьем, — засмеялся Пахом. И Клавдии, с воем бросившейся к нему в ноги: — Не скули, такой молодухе скучать не дадим!

Трофим молча набросил на плечи кожух, напялил ушанку и вышел в сени, полицаи — за ним. Клавдия с криком бросилась к дверям, но тут послышались глухие удары, чей-то предсмертный стон, и из сеней ввалился в комнату Трофим. Прислонился к косяку, бросил на пол окровавленный топор.

— Собирайся, уходить надо.

В санки, на которых дрова возили, уложили детей, на другие кое-какую еду и одежду и тёмной ночью отправились в лес к деревне Вычихи, где, по слухам, находились партизаны. Под утро натолкнулись на дозорных.

В лагере нашлись знакомые, поручились, и два с половиной года Мазуры прожили партизанской жизнью. Весной сорок четвёртого, перед самым освобождением, Трофим взрывал немецкий эшелон с боеприпасами, не уберёгся от осколка, и потерял ногу — по колено хирург отрезая из-за гангрены. Однако все четверо Мазуров выжили и вернулись в родной дом.

Обо всем этом Игнат и Давид узнали много после, не столько от родителей, сколько от соседей, и очень гордились своим необычным прошлым. Росли близнецами, ели, спали, учились вместе. Трофим и Клавдия нарадоваться не могли на сыновей: хворост из лесу носили, воду таскали, сено помогали косить и корову доили, полы в хате мыли — лучшей любой девки. А как сестрёнки-погодки появились — няньки не надо, даже по ночам к ним вставали, мать жалели.

С одной стороны, радость, с другой — беспокойство: юные Мазуры прослыли самыми отчаянными сорванцами в округе. Без них не обходилась ни одна сколько-нибудь заметная потасовка. Сверстники старались отношений с ними не портить, знали: Игната обидишь — двоих обидишь, Давида ударишь — двоих ударишь, одному слово скажи — тут же оба тиграми бросаются, горло друг за друга перегрызут. Но знали и то, что дружить с братьями интересно, что они мастера на всякие выдумки.

Игнат и Давид с удовольствием вспоминали о детстве и не раз веселили походников своими историями. Например, такой.

Председатель сельпо владел одним из немногих сохранившихся войну садов, который, как магнитом, притягивал мальчишек своими грушами, вишнями и вкуснейшими яблоками «белый налив». Охраняла сад огромная и презлющая собака, которая во время одного, неудачного набега так цапнула Давида за ногу, что тот неделю пролежал в постели. Братья разработали план мести, свидетельствовавший об их незаурядной изобретательности.

Хозяин сада очень гордился своей чистопородной овчаркой, привезённой с Кавказа ещё тогда, когда та была щенком, и сожалел, что не может найти ей подходящую пару для приплода. Братья накололи два кубометра дров исполкомовской машинистке и, заручившись её помощью, составили и напечатали бумагу:

«Глубокоуважаемый гражданин Ковальчук! Мне стало известно, что вы являетесь хозяином кобеля кавказской породы, каковая в Минске, где я проживаю, отсутствует. А у меня имеется упомянутой породы сука. Так что прошу привезти кобеля. При удачном исходе гарантирую вам щенка. С уважением — Прошкин».

Эту вероломную бумагу запечатали в конверт, и за пачку «Беломора» уговорили кондуктора пригородного поезда бросить письмо в почтовый ящик на минском вокзале. Через несколько дней хитроумные интриганы, установившие за домом председателя сельпо неусыпную слежку, могли торжествовать, глядя, как тот в обнимку с кобелём садится в служебную машину. Ватага пацанов с трудом дождалась темноты и приступила к делу. Когда гражданин Ковальчук, взбешённый гнусным обманом, возвратился домой, лучшие деревья в саду были обобраны дочиста. Пострадавший поднял на ноги милицию, подозреваемых преступников согнали в отделение, но их раздутые животы участковый счёл уликой недостаточной и дело производст— вом прекратил.

Другой эпизод, о котором Игнат и Давид сохранили наилучшие воспоминания, произошёл позднее, лет через пять.

Отец старился и хворал, сестрички тянулись вверх, как подсолнухи, семью нужно было кормить и одевать, и братья устроились трактористами в лесхоз. Молодые, крепкие, кровь с молоком — на все сил хватало: и на работу, и на вечернюю учёбу, и на гулянки до утра. Давид влюбился первым — в Шурку, белобрысую секретаршу директора спиртзавода, а Игнат, хоть и ревновал брата, во всем ему помогал: передавал записки, лупил соперников, в роли телохранителя сопровождал Шурку, когда Давид отлучался, и тактично отворачивался, когда влюблённые целовались.

В конце лета братья отправились на Алтай убирать урожай, а когда вернулись, узнали ошеломляющую новость: Шурка выходила замуж за Стёпку, киномеханика районного Дома культуры. Давид затребовал объяснений, и они были даны: от него, мол, вечно воняет керосином и тавотом, ногти всегда поломанные и чёрные, а Стёпка чистый и пахнет «Шипром». Напоследок Шурка пожалела несчастного и пригласила его с братом на свадьбу.

Давид, конечно, не пошёл — молча страдал на сеновале, и подарок от братьев преподнёс новобрачным Игнат. Подарок был не из дешёвых: Игнат на ползарплаты купил в промтоварном магазине «Шипра» и перелил его из флакона в две банки. Когда жених и невеста, бледные от волнения, уселись за стол и приготовились целоваться, явился Игнат, поздравил их и со словами: «Нюхайте друг друга на здоровье!» — вылил на каждого по банке. И молодым козлом выпрыгнул в распахнутое окно, пока не намылили шею. Игнату хотели дать пятнадцать суток за хулиганство, но ограничились строгим внушением: выручила почётная грамота за уборку урожая.

Это был единственный случай, когда братья потратились ради прихоти: вообще-то они всю свою зарплату и приработки отдавали в семью. И хотя деньги получались солидные, Игнат и Давид привыкли отказываться от обнов в пользу сестёр, для которых не жалели ни денег, ни трудов: каждый год покупали им пальтишки и сапожки, платица и туфельки, не допускали до тяжёлой работы и ходили по дому на цыпочках, когда девочки садились за уроки.

Мазуры-старшие радовались, слыша со всех сторон добрые слова о своих детях, очень скучали, когда подошло время и братья отправились служить в танковую часть, широко отпраздновали два года спустя их возвращение и с гордостью, хотя и настоянной на печали, проводили сыновей в их первую антарктическую экспедицию.

Через полных полтора календаря вернулись Игнат и Давид в отчий дом — совсем уже взрослые, сильные, уверенные в себе и своей дороге люди, отдохнули, осмотрелись и стали работать на ремонтно-тракторной станции. И родители начали было потихоньку присматривать для сыновей невест, как вдруг пришло письмо от Гаврилова, Батя писал, что не настаивает, понимает, что у каждого свои планы, но если Мазуры не насытились Антарктидой по горло, то он будет рад опять пойти с ними в поход.

И братья без раздумий пошли — в последний раз, как уверяли родителей и сестёр,

опечаленных новой разлукой. Но Мазуры-старшие уже понимали, чего стоят эти уверения.

Каждый полярник всегда клянётся и божится, что идёт зимовать в последний раз, что больше во льды его калачом не заманишь, а возвращается — и видит все те же белые сны.

Две семьи у полярника, и обе любимые: одна на Большой земле, другая на зимовке. И жизнь так складывается у него, что в одной семье он тоскует по другой, рвётся к ней всем своим существом, чтобы потом скучать по этой. Мало кто из полярников избежал такой раздвоенности, потому что не выдумана она любителями громкого слова, а существует на самом деле.

Где, как не в оторванном от мира белом безмолвии, можно понять, что ты за человек и на сколько закурок тебя хватит? Где, как не здесь, познаешь подлинную цену всему, оставленному тобой на Большой земле: родительской и женской любви, аромату зелени и цветов, субботней прогулке с детьми и беззаботному вечернему чаю в кругу семьи? Но навек отравлен полярник невозможно трудной, прекрасной своей жизнью, ожиданием корабля и мужской дружбой, в общих муках рождённой и потому нерушимой.

Во второй, потом в третий раз пошли в Антарктиду братья, а выживут, вернутся домой — пойдут в четвёртый.

Моряка зовёт море, полярника — льды и снега. Вот и вся разница.

Иной хотел бы пойти в поход, да не позовут, сам попросится — вежливо откажут. А на Игната и Давида не только Гаврилов, другие начальники «глаз положили» — дрейфовать звали в Арктику, на береговые станции. Не потому, что ни одного прокола у братьев не было — таких людей вообще нет, без проколов, как говаривал батя, а потому, что Мазурам верили. Знали, что на этих ребят можно смело положиться. Никогда не заполучал Гаврилов водителей надёжнее, разве что Валера Никитин, близкий друг, но у того имелось два недостатка: во-первых, прежде чем выполнить приказ, вольно или невольно Валера оценивал его правильность, продумывал причины и следствия, а во-вторых, здоровье его в последнее время оставляло желать лучшего. Мазуры же по первому знаку без раздумий кинулись бы в огонь и воду — качество, которое бывший комбат ценил в танкисте превыше всего.

Игнат был честолобив, с задатками властности, ему нравилось отличиться, и он гордился тем, что именно ему батя доверил флагманскую машину. При случае Мазур-1, как его называли, мог вспылить, наговорить грубостей, но, обладая развитым чувством справедливости, переживал свою неправоту и не стеснялся извиниться. Образцом для себя Игнат раз и навсегда выбрал батю и подражал ему во всем, что бросалось в глаза. И выглядело немножко смешно. С каждым походом, однако, Игнат взрослел, и именно в нём Гаврилов видел своего преемника.

Давид же характером был помягче, реже проявлял инициативу и довольствовался ролью второй скрипки при своём более волевом брате. Но влияние на него имел огромное. Понимали друг друга братья без слов и одним взглядом могли сказать столько, сколько иной раз не скажешь за целый разговор. Голоса Давид никогда не повышал, в пустяках был уступчив, но очень ошибался тот, кто принимал такую мягкость за слабость. Наступать на себя Давид не позволял никому и мгновенно сжимался в пружину, как тигр перед прыжком, когда брат оказывался в настоящей или мнимой опасности. Впрочем, Игнат в этом отношении ничем от Давида не отличался.

За время заточения в «Харьковчанке» Валера соскучился по рычагам, и Давид уступил ему своё место. Сам примостился у правой дверцы, вцепился обеими руками в поручни и поехал пассажиром, то и дело норовя ухватиться за несуществующие рычаги. Метрах в десяти кувыркалась на застругах «неотложка», а далеко впереди, подсвеченный фарами камбузного тягача, вырывался из тьмы побитый метелями флаг «Харьковчанки». Флаг то нырял вниз (Игнат загремел с заструга, отмечал Давид), то вновь возносился вверх. Игнату и бате похуже других, самая сильная тряска достаётся ведущим.

В походах Мазуры всегда шли врозь. Будь машины оборудованы переговорными рациями, можно было бы перекинуться несколькими словами:

— Жив, Гнатушка?

— Сейчас проверю... (Вдох, выдох.) Пока дышу!
— Спроси у Бориса, до пивной ещё далеко?
— Полчаса ходу, говорит. На спутнике.
— Будешь заказывать, не забудь — мне подогретое! Почесали бы языки — и вроде легче идти. А в этом походе виделись только за едой и в ремонты, когда общими силами устраняли серьёзную поломку в чьей-либо машине.

А поговорить есть о чём. Верунчик летом заканчивает десятилетку, вбила себе в голову: поеду в Москву, сдавать на артистку кино. Кто-то польстил Верунчику, что она похожа на Татьяну Самойлову, вот и зазвенело в легковерных девичьих ушах. Думали, пройдёт, одумается, так нет, вот отец и просит воздействовать. Валера говорит, что в этот институт из нескольких тысяч девчонок принимают одну, другие разбредаются по киностудиям зарабатывать стаж — курьерами и уборщицами. Нужно настрогать радиограмму поубедительнее, выбить дурь. В Минске институтов много, с родителями и Галкой дома жить будет, а не мыкаться в общежитиях.

Вернёмся, попросим Валеру или Алексея сочинить сценарий и снимем фильм-шедевр с Верунчиком в главной роли. Так и написать.

Сестрёнка, подумал Давид, важная, но не единственная забота. Ну в крайнем случае потеряет Верунчик год, отдохнёт. Что волновало по-настоящему, так это судьба Любаши, неутешной вдовы Коли Рощина.

Летом прошлого года походники с жёнами и детьми собрались на даче у бати. Разбили на обширном участке палатки, соорудили под навесом временный камбуз с газовой плитой и дней десять прожили оседлым табором. Ранним утром уходили, кто по грибы и ягоды, кто ловить рыбу на озеро, днём купались и загорали, по вечерам шумно пировали под открытым небом, прокручивали снятые в Антарктиде любительские фильмы — весело погостили, сами отдохнули и семьи сдружили.

Кроме Любаши и трехлетней дочки, Коля Рощин, как обещал, прихватил с собой свою сестрёнку Валю, фотографией которой братья не раз любовались в походе. На зимовке, где мужчина так сильно тоскует по женщине, и невзрачная дурнушка привлекательна необыкновенно, а Валя вовсе не была дурнушкой.

«На первом месте у бабы фигура, — поучал как-то более молодых товарищей многоопытный Попов, — на втором характер и на третьем морда. Женись, братва, на фигуре и характере!» Критикуя Серёгу за цинизм, большинство соглашалось с ним по существу. Рассматривая Валину фотокарточку, Игнат и Давид сходились на том, что красавицей Валю не назовёшь, но смотрится она — глаз оторвать невозможно: ножки в коротких шортах длинные и стройные, грудь высокая, руки, сжимающие теннисную ракетку, сильные и в меру полные, а лицо милое и ласковое. Братья заочно влюбились, и Коля посмеивался над их нетерпением: «Устрою женихам соревнование, как Пенелопа. Поставлю перед каждым мешок картошки, кто быстрее очистит, — бери, твоя Валентина!»

Увидели братья Валю и ахнули — лицо, как небо звёздами, усеяно веснушками. Хором уговаривали не ходить в косметический кабинет, не убирать такую прелесть. Все десять дней вились вокруг, обалдевшие, но в ту встречу ничего не определилось. Валя охотно принимала шумные ухаживания, но дала понять, что замуж пока не собирается: и институт хочет окончить без помех, и Любашку с ребёнком оставлять жалко, привыкла к племяннице.

Потом отдыхали вместе в Крыму, гостили то у Рощиных в Горьком, то у Мазуров, в Минске, и обе семьи молчаливо порешили, что быть одному из братьев Валиным мужем после очередной зимовки. Пусть разберутся между собой, да и Валя сделает свой выбор.

А погиб Коля Рощин, незабвенный друг, на припае в разгрузку, и сразу никакого выбора не стало. Когда у трещины со снятыми шапками стояли, от горя онемевшие, взглядом друг другу братья сказали: не останется Любаша вдовой, а Леночка сироткой. Связались по радиотелефону из Мирного с родителями, те поехали в Горький, уговорили бедняжек, привезли к себе. Обласкали их, с большим тактом дали понять, что не гости они, а члены семьи. А братья каждую неделю писали домой всем вместе и подписывались: ваши

любящие навсегда Игнат и Давид.

Двадцать девять лет прожили они на свете и ни разу, ни на одну минуту не вставал между ними вопрос. А три с половиной месяца, с того дня как Колин трактор ушёл под лёд, не признавались себе, а рады были, что никак не могут остаться наедине. И страдали, потому что мука из мук — невысказанное слово.

Разумом понимали: один из них должен стать Любашиным мужем. А сердцем не принимали. Не виделась Любаша женой! Хорошая, тёплая, виделась она на Колиных руках, когда со смехом нёс он её в море, прижимая к груди, — любимую, покорную. Не могли Игнат и Давид заставить себя думать о ней как о женщине! Чужое счастье, неприкосновенная жена друга — Любаша. Невозможно было привыкнуть к тому, что не жена она, а вдова...

А Валины веснушки — одну за другой перецеловали бы!

Сидел Давид в кабине, вцепившись в поручни, и молча размышлял. Сверлила его одна неотступная мысль. Если полярный закон обязывает не бросать друга в беде, то этот же закон велит протянуть руку вдове. Так поступали многие фронтовики, так поступают и полярники.

Оказавшись однажды в кабинете Макарова, Давид увидел большой портрет гидролога Тарасова, погибшего в одну из первых экспедиций. Потом Давиду рассказали, что Макаров, вернувшись из этой экспедиции, женился на вдове друга и вырастил двух его сыновей. На вдове утонувшего в море Дейвиса механика-водителя Вихрова женился его напарник Федя Воропаев. Таких случаев Давид знал несколько. Не было полярника, который не слышал бы о них и не думал втайне о том, что если и ему суждено остаться на острове Буромского, то полярны вый закон приведёт в осиротевшую семью мужа и отца.

Разве Коля не был им, Мазурам, названным братом? Разве, окажись на месте любого из них, Коля не поступил бы так же?! Так что вопрос был один: кто предложит Любаше руку? И ответ на этот вопрос Давид нашёл.

Он припомнил свою жизнь от самого скорбного её начала, хорошо известного ему по рассказам, и чувство огромной благодарности к спасшей и вскормившей беспомощного младенца семье вновь — в который раз! — захлестнуло Давида.

Пора начать отдавать долг. Деньги, зарплата не в счёт, за жизнь и родительскую любовь ими не заплатишь. Помочь брату обрести счастье — вот чем он может отдать семье хотя бы частицу своего долга. Они оба любили Валю, выбора она пока не сделала. Здесь шансы у них были, наверное, равные. Но раз уж судьба кому-то из них жениться на вдове друга, то это обязан сделать он, Давид. Примет или не примет его предложение Любаша, — решит она сама, последнее слово за ней. Но Давид надеялся, что примет. Именно к нему Любаша всегда относилась с открытой симпатией — это знали многие. Нет, ничего между ними, конечно, не было и не могло быть. Но случалось, что Коля даже ревновал — шутливо, конечно, но с той насторожённой в глазах, которая делает шутку натянутой. Так обстояло дело. И поэтому руку свою вдове друга должен протянуть он, Давид. А Игнату сказать: «Раньше постыдился бы признаться, а теперь — не осуди, Гнатушка: не знаю, на каком свете живу, только одну Любашу и вижу...» И на том стоять. Не поверит — поверит, Валины веснушки заставят.

Ещё раз повторил доводы и убедился, что рассудил правильно. Прости, Коля, что подделаешь, судьба такая! жизнь положу, чтобы горечь твою семью не терзала, верным мужем буду и ласковым отцом.

И ещё увидел Давид, как Любаша протягивает ему дочку, ощутил на своей железной шее щекоотно обхватившие её детские ручонки, и сердце его замерло от высокого смысла этого видения.

Чтобы не размагничиваться, прокричал Валере, что пора и честь знать, уселся за рычаги и весь сосредоточился на одной мысли: как бы не угробить тягач.

Не розами усыпана, далека ты, дорога домой...

ДВЕ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА

Чем бы ни закончился бой, Гаврилов, отрезвев, всегда испытывал горечь. Он сердцем привязывался к людям и технике, и скорбел, видя, как уносят с поля боя тела товарищей и как дымятся превращённые в груды покорёженного металла умные создания человеческих рук.

На Курской дуге бригада попала в самое пекло, и после битвы Гаврилова направили на уральский завод за новыми машинами. Благодарил, обнимал рабочих, обещал довести свой танк до самого Берлина, а знал, что в лучшем случае хватит этой «тридцатьчетверки» на сто — двести километров боев. Жалел, холил её, как казак коня, и, покидая горящий танк, будто сам испытывал боль от ожогов.

Но в конце концов боль потери стала привычной. В бою танк, если даже он не успел отомстить за себя, гибнет, как солдат: смертью храбрых. Отсалютовали павшим героям — и пошли дальше. Бескровных побед не бывает, кому-то нужно расставаться с жизнью, чтоб жили другие. Жестокое время — жестокая философия.

От фронта и остался у комбата обычай: отгремел бой — считай раны, товарищей считай. Вот и теперь, выйдя на двенадцатые сутки из застрогов, Гаврилов по старой привычке прикидывал, чего ему стоил этот бой.

Проснулся Гаврилов от почудившегося ему звонка. Взглянул на светящиеся стрелки часов: целый час до подъёма. Полежал немного с закрытыми глазами, уверился, что больше не заснёт, и вылез из мешка. Сунул босые ноги в унты, набросил на плечи кашку и, отстукивая зубами барабанную дробь, разжёл капельницу.

Оделся как следует, налил из термоса чашку кофе (запретил Алексей пить кофе, но лучше бы запретил курить!) и с наслаждением выпил. Что мальчишка, что поседлый мужик — один черт, нет для человека большего удовольствия, чем махнуть рукой на запрет. Как сказал бы Валера, — от праматери Евы в генах передалось сие роду человеческому.

Поскрёб пальцем стекло иллюминатора, глянув в темь. Направо чернел гурий. Низ его замело снегом, виднелись только верхние ряды, но Гаврилов не сомневался, что гурий был тот самый, из двадцати двух бочек — отмеченный на карте двумя двойками. Тем более что на вехе рядом с бочками торчала продырявленная кастрюля и деревянная табличка с надписью: «Осторожно, злая собака!» — Тошкина самодеятельность по пути на Восток. «Харьковчанка» мимо прошла, а Тошка, сукин сын, рысьими своими глазами увидел гурий, заработал бутылку коньяка или два блока «Шипки» на выбор, — приз, подлежащий выдаче по прибытии в Мирный. Ста бутылок не жалко — так нужен был этот гурий. Точные координаты! Теперь бы только не сбиться с курса и выйти напрямиком к воротам на сотом километре.

Вздвинул и поёжился: на шею упала ледяная капля, начали таять сосульки. Сбил ту, которая свисала над головой, подсел к печурке, чтобы ощутимее впитывать тепло, взял вахтенный журнал и стал листать его мятые, засаленные страницы. Борька, стервец! Говорил ему: пиши химическим карандашом и ясно, документ ведь, а не девочке записка. «М-о кончилось» — что кончилось? Мясо, молоко или масло? «Петя, чувств, себя норм.!» — с Петей ты в шахматы можешь играть и пить на брудершафт, а в журнале указывай должность и фамилию.

Последнюю запись Борис сделал вчера, четвёртого мая. Взглянув на дату, Гаврилов вспомнил, что «зажал» ребятам праздник. Тактично смолчали, никто словом не напомнил, только Вася издали намекнул: «Неплохо бы сто граммчиков, для аппетита», — рассмешил всех, и без ста граммов аппетит волчий. Кашу и ту начали экономить, а мяса и запах забыли. Ладно, с голоду помереть не успеем.. В застругах, конечно, было не до праздника, а сегодня, сынки, получайте от бати первомайский подарок: спите на один час больше.

Гаврилов, довольный своей придумкой, перевёл стрелку звонка будильника.

А ведь сегодня стукнуло два месяца, как вышли с Востока. Разделил километры на дни, получился средний перегон — двадцать с небольшим километров в сутки. Зато главные

трудности — семьдесят градусов и заструги-позади. «Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы!» — трижды сплюнул через плечо. Самый главный бой всегда бывает не вчерашний, а сегодняшний.

Двенадцать дней зоны застругов вместились в две странички журнала. Может, кто-нибудь его и полистает лениво, а может, посмотрит, что написано коряво и неразборчиво, ругнётся и спихнёт в архив. А ты сначала спроси, почему неразборчиво, а потом ругайся! Это я могу Борьку крыть, а ты не смей: два ребра у Борьки сломано, понял?

И памятью своей стал Гаврилов расшифровывать две последние страницы.

В прежние походы зону застругов проходили с песней. Ну, это, говоря фигурально, песен, конечно, никто не пел — ругались сквозь зубы, чтоб язык не откусить. В том смысле с песней, что машины и люди были в настроении, камбуз ломился от всякой снеди, а купол, освещённый ярким летним солнцем, весело подмигивал. И мороз не мороз, пятнадцать — двадцать градусов всего, в кожаных куртках на воздухе работали. Каждый день самолёты крыльями покачивали, смешные письма от ребят, пироги с капустой, яблоки сбрасывали. Валера зазевался на заструге, тюкнулся носом — общий смех. Петя на ходу задом тамбурную дверь вышиб — хохот.

Даже не верится, что и в прежние походы, добравшись наконец до Мирного, в баню на карачках вползали. Блажь то была, а не усталость!

Все дело, подумал Гаврилов, в запасе сил. Раньше его хватало на три тысячи километров, а теперь едва на две. Уже на Комсомольской примерно кончился этот запас. К Востоку-1 подошли на полусогнутых, а по застругам двигались уже на святом духе.

Всю жизнь ненавидел и презирал Гаврилов мужские слезы, мирился с ними только тогда, когда салютовал над братскими могилами. А тут содрогнулся, увидев мокрые глаза у Игната, — никак не мог Игнат натянуть на себя унты; в сторону отошёл, чтоб не слышать, как скулит Тошка, у которого кувалда валилась из рук, и, самое худшее, сам от бессилия чуть не разнюнился, когда железные тиски сжали сердце и ноги не поднимались на трап «Харьковчанки». Никто не видел — и то хорошо...

Мясо кончилось! По хорошему бифштексу на завтрак, обед и ужин — подзарядили бы аккумуляторы. Плохо в полярке человеку без мяса, здесь и сам Лев Толстой не бравировал бы своим вегетарианством. Молодец Ленька, чуть не пришиб Гаврилов его тогда, а не сбрось он в пожар полуфабрикаты с крыши балка, пришлось бы возвращаться на Восток. Хотя вряд ли, это сегодня так кажется, назад ходу не было.

Выжали морозы и синицынское топливо у походников силы до капли — отсюда и все неудачи, ошибки за ошибкой. То Игнат «Харьковчанку» увёл в сторону, то Ленька с Тошкой забыли про давление масла и чуть подшипники не расплавили, то многоопытный Сомов спросонья рванул на третьей передаче и смял бампер о сани.

Петю еле откачали: на вершине купола никогда не забывал проветривать камбуз, а до двух километров спустились, и газ почти полностью стал сгорать — задремал у плиты и едва не отдал богу душу. Не заскочи Тошка на камбуз испить чайку, быть бы Петрухе па острове Буромского... С желчью и кровью вывернуло, по молодой, отдышался, на третьи сутки уже выгнал Алексея из камбуза.

Борис тоже хорош гусь, расселся в своём кресле, как в театре. Не два ребра сломать, грудную клетку могло бы раздавить, когда «Харьковчанка» с заструга-трамплина прыгнула. Шесть дней, обложенный спальными мешками, провалялся Борис на полке, пока заструги не кончились. На стоянках губы до крови кусал, а ни одного сеанса с Мирным не пропустил — хорошо заквашен Борька Маслов, на совесть. А ты говоришь — почерк, ругнул Гаврилов им же выдуманного оппонента.

Прочитал корявую строчку: «Потёр, б-н пропана, пшик ост.». Алексей небось и про Лелю забыл, с опущенной головой ходит, казнится. Правильно, казись, переживай свою вину. Решётка сбоку от хозсаней приварена добротно, твоя забота была надёжно закрепить баллон в ячейке — твой это участок работы. Не заструги, а ты, док, виновен в том, что баллон потерял, ты будешь отвечать, когда люди начнут жевать непроваренные концентраты

и запивать их чуть тёплой водичкой.

Гаврилов встал, подошёл к нарам и посмотрел на спящего Алексея. Бороду рвал — умолял разрешить вернуться, искать баллон. Скверно тебе жить стало, Лёша, но пройди и через это. Хорошим для всех быть легко, а ты поживи в шкуре человека, на которого товарищи лютыми зверями смотрят. Познавай, как сам говорил, меру добра и зла. Ну, ничего, сынок, спи спокойно, народ мы отходчивый, зло в душе не храним.

Гаврилов снова присел у капельницы и взял журнал. Вот, пожалуй, и все ошибки, в других бедах виноваты не люди, а до смерти усталая техника.

Вспомнил, как повёз однажды семью на дачу и километров через двадцать обнаружил, что забыл дома водительские права. Развернулся и потихоньку, лъстиво улыбаясь орудовцам, поехал домой. Очень тогда расстроился — минут сорок времени выбросил псу под хвост. А когда неделю назад Давид на стоянке не увидел за тягачом саней, то молча потрогал лопнувшую серьгу сцепного устройства и вместе с Игнатом отправился обратно. Четыре километра — туда, четыре — обратно: три часа не у рыбалки на даче, у сна своего одолжили. Неделя прошла, а до сих пор этих часов не хватает братьям. Особенно Давиду; серьгу в походе не заменишь, для этого нужно снимать балок и разбирать сцепное устройство, вот и тащит он сани на мягкой сцепке, на двух танковых тросах. Сани гуляют, уходят с колеи, разгоняются и бьют по балку; удивляешься, как ещё не разнесло его в щепки.

Ещё запись, последняя: «Камб. т-ч остав. на 194 км».

Посмотрел на верхние нары, где притих в мешке Петя. До подъёма полчаса, пора Петрухе на вахту. Решил не будить. Налил из бидона в кастрюлю и чайник таяной воды, поставил на плиту, зажёл обе конфорки. Камбуз теперь у Петрухи, что танцевальный зал — целый квадратный метр. Есть где повару развернуться. Дня на три газа должно хватить, а там, Петя, садись и читай газету.

Не камбузный балок, не ресторан «Сосулька» с его пробитыми морозом стенами — душу свою оставил Петя на сто девяносто четвёртом километре. Плиту четырехконфорочную, кастрюли, утварь всякую слезами умывал, как с живыми существами прощался. На этот раз вышел у Сомова из строя ПМП — планетарный механизм поворота, а весит он килограммов двести с лишним, и поднять его можно лишь краном-стрелой с «неотложки». Тут-то и выяснилось, что кран-стрела годен разве что на утиль: сорваны зубья привода, давно сорваны, но молчал Валера, и правильно молчал. Починить привод всё равно невозможно, а раз так, незачем людей было пугать раньше времени.

Камбуз — ерунда, то есть не ерунда, но готовить свои шашлыки и цыплят-табака Петруха может и в «Харьковчанке». Ну, постонет, повздыхает, а кашу и чай-кофе разогреет. Тягач жалко! Полпоезда уже обрубил трасса, остались три машины...

На них всего сто тридцать километров нужно пройти, чепуху сущую. Но — без крупного ремонта! Полетит внутри какой-нибудь подшипник или шестерня — и нет машины. Если загнётся «неотложка», запасные части перегрузим на сани и пойдём дальше; если балковый тягач — всех приютит «Харьковчанка»: в тесноте, да не в обиде...

С того дня, как недвижимым остался на застругах камбузный тягач, все надежды походников сконцентрировались на оранжевой глыбе «Харьковчанки». В рёве её танкового мотора слышалась упоительнейшая на свете музыка, гимн, утверждающий жизнь. Не подведи, родная, с горячей мольбой думал Гаврилов, ты самая умная и добрая, палочка-выручалочка наша беззаветная. Чего ты только не вытерпела на своём веку, десятки тысяч километров купола избороздила, безотказно тянула воз. Вернёмся — сердце твоё подлечим, мышцы твои усталые промассируем, тело вымоем и новым нарядом тебя украсим. Продержись, выдержи сто тридцать километров, последних и самых важных.

Гаврилов взял карандаш и внёс в журнал короткую запись. Надолго Игнат запомнит обиду, но Гаврилов не боялся обижать людей, когда считал, что это пойдёт на пользу делу. Живы будем — поймёт Игнат и простит. А понять он должен то, что два водителя, опытнее его, остались безлошадными. Один из них не может покинуть штурманского кресла, и потому за рычаги «Харьковчанки» сядет Сомов.

Прозвенел будильник, однако никто не шелохнулся. Тогда Гаврилов, не церемонясь, стал расталкивать спящих. Спыхватился, что в балке ведь будильник прозвонил час назад, а никто не пришёл, тоже, значит, не услышали.

— Па-а-дъем, лежебоки! — заорал батя, как когда-то старшина в курсантской казарме. — Петруха, бегом на камбуз, шашлыки сгорят! Остальные — выходи строиться.

Люди позавтракали и пошли готовиться к броску на сотый километр.

ПОИСК

Ни на какой другой материк не похожа Антарктида. Когда-нибудь учёные докажут, что сотни миллионов лет назад была она цветущей и полной жизни, пока все ещё неизвестные людям силы не стали перекраивать глобус: оторвали Африку от Америки, моря сделали долинами, а долины морями, на месте гигантских ущелий вознесли до неба Тибет и нахлобучили на Антарктиду ледяную шапку.

Прикрытый лёгким снежным одеялом, купол этот почти правильной сферической фермы. От верхушки материка, под которой покоится четырехкилометровая толща льда, купол спускается к морским берегам и по мере спуска становится все тоньше. А где тонко, там и рвётся: во льду образуются трещины.

Когда летишь из Мирного на Восток, они хорошо видны — веером расходятся по обе стороны, такими безобидными ленточками. Смотришь на них с высоты, покуривая, с любопытством и не более того, а когда минут через десять — пятнадцать зона трещин исчезает, о них и вовсе забываешь. Лётчиков трещины не очень волнуют, у них и своих опасностей хватает. В общем, справедливо, каждому своё. В Антарктиде свой неудачный жребий можно вытянуть и на припае, и на берегу, и в походе, и в воздухе. Что ни шаг, то ловушка.

Но из всех ловушек полярники с наибольшим уважением относятся именно к трещине, поскольку она отличается особым коварством и редко оставляет шанс вырваться из неё.

Люди Первой экспедиции установили, что начинается зона трещин у Мирного и простирается до сотого километра, а первопоходники, основавшие Пионерскую, открыли коридор, по которому можно пройти санно-гусеничным путём.

Циркач без страховки увереннее чувствует себя на канате, чем походник в этом коридоре!

Пять-шесть метров ширины — вот он каков, этот коридор. В любой другой зоне ушёл в сторону — в худшем случае провалишься по пояс в сыпучий снег, а здесь зазевался, свернул с колеи — лети без парашюта.

В зоне трещин неукоснительно соблюдается одно не имеющее себе подобных правило: с тягача прыгать нельзя. Остановился — и спускайся на снег с такой осторожностью, будто тебе предстоит ступить босиком на стекло. Колея испытана многими годами, снег на ней утрамбован, а с боков рыхлый, и никому не известно, способен ли он выдержать тяжесть человека. Может, способен, а может, и нет.

По расчёту, поезд приблизился к сотому километру.

Машины пока ещё шли развёрнутым строем, соблюдая дистанцию семь-восемь метров. Благодаря этому фарами освещалось обширное пространство и увеличивалась вероятность увидеть ворота. Если поезд не сбился с курса, то они должны вот-вот показаться, а если сбился, то следует остановиться и начать поиск.

На самом малом вёл Сомов «Харьковчанку». В рычаги вцепился — пальцы побелели.

— «На вожжах» бы пойти, батя!

Иногда водители так и поступают, в опасном месте — на припае или в зоне материковых трещин — ведут трактор «на вожжах»: привязывают к рычагам верёвки и идут пешком, следом за трактором. Так что в случае чего гибнет машина, а водитель остаётся жив. Но в тягаче кабина, его «на вожжах» не пустишь...

Гаврилов остановил поезд, собрал в салоне людей и изложил им свой план.

«Харьковчанкой» рисковать нельзя, искать ворота будут два тягача. Они разойдутся в разные стороны б таким расчётом, чтобы «Харьковчанка» не пропадала из поля зрения. Двери в кабинах должны быть открыты.

При малейшей опасности немедленно покидать тягач! Пешая группа из четырех человек в связке пойдёт по ходу движения. В «Харьковчанке» останутся Никитин и Маслов, обязанность которых — разжечь костёр и включить сирену, если через час после начала поисков люди и тягачи не вернутся обратно.

Так и поступили.

Искали целые сутки: водители спали по несколько часов и менялись. Кружили где-то рядом с воротами. Утром успели определить по солнцу приближённые координаты: здесь, буквально в считанных километрах, должны они быть, ворота! Две трещины уже видели, одну Гаврилов осветил фарами, а на другую набрёл со своей группой Сомов.

Трое суток кружили, а потом началась пурга. Сутки отсиживались, а когда стихло, разбили лагерь чуть впереди и снова стали искать. Морозы стояли не очень сильные — около пятидесяти градусов, но с ветерком; многие поморозились, и уходить больше чем на час Гаврилов запретил. Продукты таяли, пришлось урезать даже порции опостылевших концентратов. А расход физических сил был большой, и люди заметно ослабли. Сменяясь с вахты, они теперь почти не разговаривали — не потому, что говорить было не о чём, а потому, что валились с ног и засыпали.

На пятые сутки Леняка угодил в трещину и потянул за собой связку. Удержали его и вытащили, но при падении он сильно разбил колено, и самого сильного в поезде человека от поисков пришлось освободить. Впал в обморочное состояние и еле успел тормознуть перед трещиной Сомов. Погасла газовая плита, и еду кое-как готовили на капельнице. Надрывался в мучительном кашле Валера, стонал во сне Борис, по несколько раз в день Алексей делал уколы бате. Лучше других держались Мазуры, Тошка и Петя, по и они начали сдавать.

А думали, самое тяжёлое позади.

Отчаяние охватывало людей.

В прошлые походы найти ворота было не то что плёвым, но более или менее простым делом. Замело — подожди, а выплыло солнце и видимость стала миллион на миллион — определись поточнее и смотри во все глаза, пока не покажется гурий, обозначающий вход в коридор. Февраль — полярное лето, благодать!

А теперь жди не жди — видимости больше не будет. Выглянет ненадолго солнце, бледная немочь, и едва осветит купол, как керосиновая лампа с прокопчённым стеклом.

Через космические холода шли — прошли, дышать было нечем — дышали, солёнка, кровь машинная, загустела — разогнали по жилам, дьявол требовал души — не отдали. Выжили!

А зря или не зря два с лишним месяца боролись за жизнь, решает сотый километр. Раскроет он людям ворота — значит, не зря, а спрячет...

Найдём, думал Гаврилов, быть такого не может, чтобы не нашли.

Конечно, знал он, старый полярный волчара, что всякое бывает. Капитан Скотт не дотянул до склада с продовольствием нескольких километров — это из самых известных примеров; Витька Звягинцев на мысе Шмидта замёрз в пургу, обняв столб с оборванными проводами, в тридцати шагах от дома; гибли другие полярники, отдельные люди и целые экспедиции, когда до спасения оставался последний рывок. Но знал Гаврилов и главную причину их гибели: они теряли надежду, а вместе с ней — последние силы и волю к борьбе.

Неожиданно, так что Алексей задержал в руке шприц и изумлённо взглянул на него, коротко рассмеялся — вспомнил, как рывкнул однажды комбриг: «Лучше потерять штаны, чем — надежду!» Ситуация тогда была вовсе не смешная, но по прошествии четверти века опасность забылась, и обидная для многих, оскорбительная фраза комбрига вспомнилась как шутка.

Без хлеба выжить трудно, но можно, без тепла ещё труднее, но тоже можно, а вот без надежды никак нельзя. Поэтому он, Гаврилов, обязательно должен оставаться в строю,

чтобы орать на людей и шутить над их слабостью, топать на них ногами и ласково хлопать по плечам: не в таких переплётах бывали, сынки, выше носы!

— Может, сразу по две ампулы? — спросил, когда Алексей готовил шприц.

— И так получаешь в два раза больше.

— Большая просьба, Лёша.

— Если насчёт ампул, то напрасно.

— Тряхни стариной, сыпок, сними гитару.

— Не могу.

— Я прошу!

— Хорошо, батя.

Понимали всё, что занимается батя психотерапией, и без особой охоты собирались в салоне, — лучше бы поспать этот лишний час. Пел Алексей не очень удачно: и голос сел, и разладилась гитара, не слушалась отвыкших от неё огрубелых пальцев. Но разогрел, разбередил души! Добрался до скрытых в их глубинах чувств, растормошил ушедших в себя товарищей. Спел последнюю песню — просили ещё и ещё, и так продолжалось чуть ли не два часа. Щеки у ребят порозовели, глаза заблестели — заставил Алексей друзей припомнить о том, что есть на свете жизнь, за которую стоит бороться даже тогда, когда бороться нет сил.

Будут живы — не забудут этот концерт.

Вечером того же дня Гаврилов велел временно прекратить поиск. Чтобы не тратить понапрасну горячее, двигатели заглушили, и люди легли спать. Гаврилов сел в кресло, разложил перед собой карту зоны трещин и уставился в неё невидящими глазами. Знал её наизусть, каждый ориентир, но что в них толку, если они не видны!

Интуиция подсказывала Гаврилову, что направление поиска нужно кардинально менять. Мысль была дерзкая, но сколько раз его выручали именно дерзкие мысли!

И Гаврилов предположил: поезд прошёл стороной и оказался справа от коридора. И нужно идти не вперёд, а назад!

Разбудил Игната и Сомова, велел им одеваться. Ещё разбудил Алексея и приказал в случае долгого их отсутствия включить сирену и фары.

Спустя два часа километрах в полутора от стоянки Сомов увидел веху.

Вехи устанавливались походниками по дороге па Восток с правой стороны по ходу движения и ежегодно обновлялись: хотя шесты имели высоту три с половиной метра, их за несколько месяцев могло засыпать снегом по самые верхушки. Все зависело от складок рельефа. Случалось, что попадались совсем старые вехи, а бывало, что даже прошлогодние исчезали в снегу. Вбивали их через каждые пятьсот метров, и нумерация шла от первой до двухсотой. На вехе имелся указатель курса, номер и знак поставившей её экспедиции.

Компас может обмануть походника, а веха не обманет: найдёшь одну — размотаешь всю цепь.

Но Гаврилов, Игнат и Сомов не спешили радоваться находке.

На вехе отсутствовал указатель курса и не различался номер. Торчащий на полметра из снега шест свидетельствовал лишь о том, что здесь давным-давно проходили походники Пятой экспедиции, и больше ни о чём. Логика подсказывала, что эта старая веха была поставлена неточно и потому заброшена. Во всяком случае, на штурманской карте Гаврилов её не нашёл.

Вот почему радоваться было преждевременно. Неизмеримая ценность или полная бесполезность находки зависели теперь от того, знают ли об этой вехе в Мирном. На карте начальника экспедиции должны быть обозначены все вехи и углы подхода к ним за все годы. Должны!

И Гаврилов ввиду особой важности предстоящего сеанса связи предложил всем покинуть «Харьковчанку», чтобы ни кашель, ни даже дыхание людей не мешали работе радиста.

Два предыдущих сеанса Борис пропустил: закапризничал передатчик. Точнее, не сам

передатчик, а его умформер — преобразователь напряжения. Этот небольшой круглый цилиндр находится под рацией, над выхлопной трубой, и Борис опасался, что из-за постоянной разницы температур в умформере пробило обмотку. Приборы показывали, что он не даёт нужного напряжения в 1500 вольт и находится, видимо, на последнем издыхании. Поэтому Гаврилов приказал Борису временно прекратить работу, пока не возникнет крайняя необходимость.

— Ну, Боря, — сказал Гаврилов, — благословляю тебя, сынок.

И протянул листок с текстом радиogramмы.

Прохождение радиоволн было хорошее. На связь Борис вышел быстро и, как говорят радисты, отстукал текст. «со скоростью поросычьего визга»: «Нашли веку Пятой экспедиции номер стёрт виднеется что-то вроде буквы икс указатель отсутствует. Поблизости других вех нет. Сообщите координаты угол подхода к воротам. Как поняли? Приём».

Мирный передал:

«Слышу плохо, повторите, приём».

Но повторить Борис уже не смог: напряжение в умформере упало до нуля.

— Я УФЕ, я УФЕ, почему молчите? РСОб, РСОб, РСОб, я УФЕ, я УФЕ, Мирный вызывает поезд Гаврилова, как слышите меня? Приём!

— Ребятам ни слова, — предупредил Гаврилов, — рация работает нормально! Борис хмуро кивнул.

БОРИС МАСЛОВ

Нить оборвалась.

Ленька Савостиков рассказывал однажды про своё последнее поражение на ринге. Бил его зелёный перворазрядник, расквасил нос, а Ленька только отмахивался вслепую, словно мух отгонял, пока не грохнулся на ринг под ликующий вой болельщиков.

Таким же беспомощным и жалким чувствовал себя сейчас Борис. Уши слышат, а язык свинцовой чушкой лежит во рту.

— РСОб, РСОб, РСОб, я УФЕ, я УФЕ, Гаврилова вызывает Макаров, слежу на всех частотах, приём!

«Да идите вы со своими частотами... Ну, скажите, — молил Борис, — за— писали запрос на ленту или нет».

— Я УФЕ, повторите ваш запрос, повторите запрос... Слежу на всех частотах, приём! Слежу непрерывно, буду вызывать вас каждый час...

Борис откинулся, вытер вспотевший лоб.

— Все, батя, загораем...

— Записали тебя?

— Не сказали.

Гаврилов кивнул, прилёг па нары.

Борис скривился. Боль толчками била в бок, распухший и посиневший от кровоподтёка. Ничего страшного, сказал Алексей, жизненно важные органы не задеты.

Да, конечно, не страшно! Вашему брату врачу чужая боль не страшна...

— Болит? — спросил Гаврилов.

— Ерунда.

— Портрет у тебя перекосило.

— Так, немного.

— Держись, сынок.

— Есть держаться, батя.

А крик так и рвался из груди. Все ребра бы дал поломать — за связь! Нет ничего больнее для радиста, чем потерять связь. Батя — ласковый, сочувствует. Лучше бы орал, ногами топал, думал Борис. Ведь сам, своими руками отнёс запасной умформер в Ленькин балок, хотя радист обязан иметь при себе полный комплект запасных частей. Сгорел

умформер вместе с балком, и сгорела вместе с ним репутация радиста высшего класса Маслова. Черт с ней, лишь бы в Мирном записали и расшифровали запрос! Сделали это — сохранится эта самая репутация, хоть и в лохмотьях, как любит говорить Валера, а не сделали — мёртвые сраму не имут... Не тягач, не камбуз — весь поход угробил. В голос бы завывать, чтоб в Мирном услышали!

Целый час ждать, шестьдесят, нет, уже пятьдесят пять минут. Заснуть бы, забыться на эти минуты! Нельзя, у одного человека в поезде нет дублёра — у радиста. Был Попов, да весь вышел...

Батя лежит, молчит. Чем хорош батя, так это тем, что не ворошит старое. Когда перед Комсомольской Борис разболтал содержание телеграммы Макарова и пошли страсти-мордасти, любой другой начальник души бы вытряс, а батя спустил дело на тормозах. И за рацию не попрекнул ни одним словом. Лежит и молчит.

— Батя, — не выдержал Борис. — Знаешь ведь, моя вина.

— Ну?..

— Почему не всплещь?

— Думаешь, полегчает?.. Врежу, ещё как врежу. Вернёмся, до копейки взыщу должок, всю зимовку чесаться будешь... Вздремну, растолкай через сорок минут.

— Есть растолкать, — вяло проговорил Борис. С отворачиванием посмотрел на умформер, пнул его ногой.

Тоскливо оставаться наедине с самим собой, хоть воробью излил бы душу.

Вспомнил свою первую зимовку на острове Уединения в Карском море. На станции жило пятеро зимовщиков; дважды в год пароход доставлял продовольствие, и самолёты раз в три месяца сбрасывали почту. Был тогда Маслов молодым, неоперившимся птенцом и не знал многих полярных законов. Ночью загорелся домик — дежурный уснул, угли из печки вывалились. Борис вскочил, комната в дыму, полыхает огонь. Ничего не соображая, выхватил из-под койки чемодан и метнулся к выходу. Иван Щепакхин, начальник станции, схватил его за шиворот и ногой вышиб из рук чемодан.

— Рацию спасай!

Думал: на всю жизнь усвоит урок. Стыдно вспомнить — Ленке кричал: «Выкинь умформер!» — а сам в огонь не полез. Мало ли, что батя не пустил, заорал: «Без радиста поезд оставить хочешь?» Ленка-то не послушался, полез! Сказать-то батя сказал: «Не суйся», — а что про себя подумал, один только он и знает...

Ладно, через сорок пять минут станет ясно, что хорошо и что плохо. Может, лучше бы сгореть, взорваться с балком, без радиста батя тут же развернулся бы обратно. Одна похоронка — не десять, а смерть списывает любую ошибку...

По старой привычке, чтобы отвлечься от тяжёлых мыслей, решил перестроиться на другую волну, помечтать — любимое занятие, когда по долгу службы не имеешь права спать или читать книгу. Сначала стал мечтать о том, что в Мирном его успели записать на магнитную ленту, расшифруют запрос, и все кончится благополучно. Тогда дня через три-четыре, ну через недельку (вдруг пурга?) он вернётся в Мирный, попарится в баньке, выпьет свои сто шестьдесят семь граммов (праздник не праздник — норма для всех одна: бутылка на троих по субботам), покурит досыта и придавит ухо минутой на тысячу, в чистой постели под двумя одеялами. Мечта была прекрасная, но у неё имелся один недостаток: не уводила она от тяжёлых мыслей, а, наоборот, возвращала к ним.

И Борис заставил себя помечтать о другом, более далёком. Тропинки, стоянка в инпорту, потом встреча на причале... Татьяна, как всегда, возьмёт номер люкс в «Октябрьской». С причала сразу в гостиницу. Первым делом подарит Пашке и Витьке игрушки (уже присмотрели в Лас-Пальмесе, японские, вместе с Валерой договорились покупать, но разные, чтобы потом меняться). Ресторан, сынишек — в постель и все остальное...

Татьяна — маленькая, кругленькая, черноглазая... Рост — сто пятьдесят пять, вес — шестьдесят, а ничего, все разместилось на ней складно: тридцать два года, а студенты на

улице оглядываются, глазищами зыркают, паразиты. «Мужчины не собаки, костей не любят!» —отмахивалась Танька от подруг, уговаривавших её худеть. Огонь была девка, и женой стала — не остыла!

Поёжился. Доказательств никаких, а быть того не может, чтоб не изменяла, станет она тебе полтора года с радиogramмами жить. «Лысеешь, Борька, — смеялась, — освобождаешь место для рогов!» Нет, изменяла бы — так бы рискованно не шутила... Узнаю — смотри!

Впрочем, попробовал бы кто пальцем тронуть Таньку. Предупредила, когда вскоре после свадьбы как-то рыкнул на неё: «Один раз отчим ударил — месяц провалялся в больнице, я ему кочергой ответила. Баба — она как кошка, с ней лучше по-хорошему, лаской. Учёл?» Учёл, брал лаской. Являлся домой выпивши — нёс впереди себя розу или букетик фиалок: «Моей добрейшей и ненагляднейшей Татьяне Ильинишне!» А дверь в спальню запирала, отстукивал морзянкой: «Терплю бедствие!» Тоже безотказно действовало, ключ к сердцу женщины — нежность, напоминание о золотых днях любви.

Татьяна была радисткой в бухте Провидения, он — на острове Врангеля. Первое время болтал с ней от скуки, а месяца через три уже не мог дожидаться вахты. Передавал погоду, научную сводку и прочее и настраивался на бухту Провидения. Как спалось, драгоценнейшая Татьяна Ильинична? — Плохо. Снилось, что на тебя медведь напал. Жалко стало? — А ты как думал? Куда ему теперь, бедняжке, с несварением желудка!-А почему тебя кличут Персиком? — Потому что я круглая и сочная, кто захочет съесть —зубы о косточку обломает! — Не пугай, у меня зубы крепкие. — Знаем мы вас, таких героев. — Встретимся после вахты? — Ага, приходи в тундру, пятый сугроб слева. — А как тебя узнаю? — Буду держать охапку ягеля, милому на угощение.

Через лётчиков обменялись фотокарточками: он послал вырезанного из журнала греческого бога Аполлона, она в ответ — Бабу-ягу и трикотажные тренировочные брюки с припиской: «Чего голый стоишь? Отморозишь!» Два года перестукивались, вся Арктика настраивалась на их разговоры — посмеяться. И вот как-то подвернулась оказия: «ЛПИ-2» должен был доставить продовольствие из бухты Провидения на остров Врангеля. Борис поклонился сменщику, уговорил начальника станции и полетел инкогнито на первое свидание. Вошёл в радиорубку, огляделся и во все глаза уставился на румяную малышку. Не видел никогда — сразу узнал. Потоптался смущённо, с отчаянной решимостью подошёл к ней и поцеловал в обе щеки.

— Наше вам, Татьяна Ильинишна!

— Танька, тебя зовут! — засмеялась малышка.

Борис так и застыл с открытым ртом, глядя на обернувшуюся к нему высокую и здоровенную деваху. Но тут раздался общий хохот, и жених с облегчением вздохнул. Так тебе и позволят в Арктике прилететь инкогнито!

Какой была, такой осталась — звонкой, насмешливой и донельзя самостоятельной. За все годы только раз всплакнула, не лежало у неё сердце отпускать мужа в эту экспедицию. Еле уговорил... Уж очень батя просил, привык за два совместных похода. Удачливым слыл батя, многие радисты к нему набивались, а тут сам кланяется: пойдём, Борька, тряхнём стариной. Поломался для виду, потешил свою гордость и согласился. Все, теперь если зимовать, только на дрейфующую станцию. Там ночь не ночь, самолёт всегда прилетит, ёлку, почту, посылки сбросит — и человеком себя чувствуешь. А лучше всего вообще кончать с поляркой: дети в школу пошли— отцовский глаз нужен, да и Таньку грех вводить во искушение слишком длительной свободой. Вернусь — и швартуйся, Борис Григорьевич, на вечную стоянку в Черёмушках. Из тридцати пяти лет чистых десять прожито в полярке. Мало? Много!

Полчаса осталось, на стрелки смотреть тошно — как полудохлые мухи на солнце... Капроновые нервы у бати — заснул. Значит, все у него решено, раз позволил себе заснуть: сообщат курс — запевай, а не сообщат — пешком, ползком пойдём искать ворота. Найдёшь их, как же —прямо в рай... Ребята небось в балке томятся, гадают, почему это сеанс затянулся. Уходили — как хоккеисты вратаря по плечу хлопали: «Давай, Борька». Им

хорошо, они каждый за себя отвечают, а в шайбе всегда виноват вратарь. Спасибо, ребята, за любовь и доверие...»

Сунул руку в ящик стола, вытащил кипу листов. У Ленькиной матери день рождения, а поздравление не отправлено. Мамочка, скажем прямо, три радиogramмы в неделю от сыночка требует, чуть задержка — поднимает тревогу на сто слов. И докторские родители такие же психи, а у них, как на грех, тридцатилетие супружеской жизни — вот она, Лешкина радиogramма. Тоже будут бить во все колокола. Догадаются в Мирном — соврут что-нибудь помехи, мол, в ионосфере. Хорошо ещё, что свою родню не разбаловал, приучил: раз в неделю «Жив, здоров» — и никаких тебе слюней.

Снова заставил себя думать о другом. Ребята наверняка веник на радостях докуривают — Тошкин эрзац-табак. Этому шкету все нипочём, на собственных похоронах фортели будет выкидывать. Сидит братва, концентраты жуёт, а Тошка приютился в углу, язык набок, накорябал что-то на бумажке — и прошу, товарищ Маслов, принять срочную радиogramму от члена коллектива Петра Задирако: «На деревню дедушке Макарову Алексею Григорьевичу. Дорогой дедушка, возьми меня отсюда. Мясо все слопали, никому я больше здесь не нужен, а наемдни Гаврилов хотел меня высушить и пустить на куриво...» Животы надорвали. Нигде не пропадёт Тошка — счастливый характер.

Великая сила — характер, кому-кому, а радисту это известно. Хотя радист, дорогие товарищи, докторского образования и не имеет, а никакой доктор ему в подмётки не годится, когда надо поднять человеку настроение. Ну, воздействовать на психику, что ли. Дурак-радист здорового мужика в хлюпика превратит, а умный из хлюпика сделает богатыря. Взять, к примеру, Савостикова. Мускулов вагон, а характера — маленькая тележка, совсем сдал парень после того, как заблудился в позёмку. Тогда не кто-нибудь, а он, Борис, попросил Валеру сочинить текст, батя подписал, и пошла в Ленинградский спорткомитет радиogramма о геройском поведении мастера спорта Савостикова, спасшего начальника поезда. И такое оттуда поздравление Ленька получил, что по сей день готов вместо тягача сани тащить. С Валерой — наоборот. Жена сообщила, что тяжело заболел отец, подозрение на рак. Зачем? Пошлют за Валерой «ТУ-104» и доставят в Москву? Пришлось задержать радиogramму, а жену надоумить: сочувствуем, но просим учесть ситуацию.

А как в прошлом походе Серёгу Попова лечили? Отпетым циником и бабником был Серёга (был! Он-то есть, ты будешь или не будешь — вопрос), в тридцать четыре года неженатый, один у него разговор — женщины: как они — Антонина, Рая и другие — его обожают. Борис и предложил провести курс лечения. К обеду на десерт — первая радиogramма: «Дорогой мой ненаглядный твой сыночек уже толкается тук-тук в июне поеду рожать к твоим хочу назвать Сереженькой телеграфируй согласие. Твоя Марфуша».

Два дня Попов обалдевший ходил, за голову хватался: «Вот змея!» Выдержали Серёгу неделю — и хлоп на стол новую радиogramму: «Согласно заявлению гражданки Петриковой Антонины Николаевны и показаниям свидетелей — лей двое близнецов рождённых упомянутой гражданкой зарегистрированы вашу фамилию тчк Соответствии законом алименты взыскиваются вашего расчётного счета тчк Завзагсом Рудаков». Серёга чуть не слёг, но батя велел добавить ещё. Добавили — радиogramму от родителей: «Приехала из Рязани Раиса на седьмом месяце говорит твой сообще срочно принимать как невестку или нет». Тут Серёга озверел, стал заикаться, и батя при всех сказал: «Поможем тебе, Попов, выручим, но обещаю коллективу: о бабах больше ни звука». — «Да я... чего хочешь! Землю есть буду!» — «И с этим делом покончишь?» — «Батя! Клянусь!» Тогда признались...

Десять минут. Ну, родные мои, Володька, Генка, не томите душу, скажите, что записали и расшифровали! Если даже нет у Макарова на карте той проклятой вехи, хоть совесть будет спокойна... Вахты за вас нести буду, полы мыть в рубке!

Проверил настройку, поправил наушники.

— Батя, время!

Гаврилов покряхтел, встал, подошёл к рации.

— Чего руки дрожат? Лошадей воровал?

— Х-холодно...

Гаврилов набросил на плечи Бориса свою каэшку.

— Эфирное создание... Может, микрофоном попробуешь?

— Не выйдет, батя.

— Все у вашего брата радиста шиворот-навыворот. От Комсомольской работали микрофоном, а у самого Мирного — морзянкой, и то слышимость будто комариный писк.

— Спроси у радиофизиков, я в теории не очень... Начали!

— Переведи эту тарабарщину на человеческий язык, Ну?

— РСОб, РСОб, РСОб, я УФЕ, я УФЕ, Мирный вызывает поезд, Мирный вызывает поезд, как слышите меня, приём... Гаврилова вызывает Макаров, у рации Макаров... Ваня, твой запрос не разобрали, не поняли... Если тянешь технику на буксире, разрешаю все оставить, иди на одной «Харьковчанке», на одной «Харьковчанке»... У тебя дома все нормально, у ребят тоже. Ваня, уверен, что молчишь из-за поломки рации, из-за поломки рации... Как понял меня? Приём... Ваня, дружище, каждый час буду выходить на связь, слежу на всех частотах. Твой Алексей Макаров.

Борис уронил голову на грудь, замер.

— Не поняли... — раздумчиво, самому себе сказал Гаврилов. — Жаль, что не поняли... Зови ребят. Начнём, сынок, все сначала.

СЕРГЕЙ ПОПОВ

Перед самым вылетом с Востока приятель-магнитолог подарил Попову бутылку спирта — лучше бы сам её выпил. Всю ночь Сергей Попов просидел с Мишкой Седовым, день проспал, а вечером выбрался из дома подышать свежим воздухом — нет «Оби», ушла. Жалко! Друзей не проводил, не помахал рукой с барьера...

Долго проклинал он ту самую бутылку.

Неприятности начались с разговора в кабинете начальника экспедиции. Макаров и начальники отрядов слушали внимательно, задавали вопросы, уточняли. Того, чего Попов опасался, не произошло: никто не осуждал его, не упрекал за то, что он выбрал самолёт. Прочитанное вслух письмо Гаврилова подтверждало: в обратный поход пошли только добровольцы, и никаких претензий к тем, кто улетел, у него нет.

— А Сомов и Задирако почему все же остались? — поинтересовался Макаров.

— Никитин нажал, — ответил Попов. — Уговорил в последнюю минуту.

— А тебя не уговаривал?

— Нет. А то бы я тоже остался!

Выпалил — и покраснел. Глупо прозвучало, по-мальчишески. Никто, однако, не усмехнулся, будто не слышали.

— Мне идти? — Тоже не самое умное сказал: начальство лучше знает, когда отпустить.

— А куда собираешься идти-то? — Макаров на этот раз усмехнулся. — Куликов, возьмишь его к себе?

— Обойдусь, — коротко ответил начальник аэрометотряда.

— Кто берет Попова?

— Я беру, — пробасил Сорокин, заместитель начальника по хозяйственной части. — На камбуз, мыть посуду.

— Чего? — Попов не поверил своим ушам.

— Замётано, — Макаров кивнул. — Иди, Попов.

— Шутите, Алексей Григорьевич?

— Можешь идти!

Вышел — как с ног до головы оплётанный. Снял шапку, подставил сырому ветру разгорячённую голову. Он, Сергей Попов, штурман четырех трансантарктических походов, будет кухонным мальчиком? Дудки!

Тогда и начал проклинать подаренную бутылку спирта, из-за которой проворонил

«Обь». Хлопнул бы на стол заявление — и будьте здоровы! Не было ещё такого, чтобы один человек за всех мыл посуду. Каждый отряд по очереди обслуживал камбуз. Значит, решили наказать, отомстить за то, что не улыбается начальству, как другие... Кто другие — в голову не приходило, но было ясно, что они наверняка имеются. Ещё пожалеете о Серёге!

Сутки валялся на койке в пустом доме (из транспортного отряда один Мишка Седов в трех комнатах жил), курил одну сигарету за другой. Утром следующего дня явился на камбуз.

— Чего делать? — буркнул, не глядя на шеф-повара Петра Михалыча.

— Работа у нас не простая, не всякому уму постижимая! — с обычными своими вывертами запел повар. — Запомню, ты по каким наукам главный у нас специалист?

— Брось трепаться, Михалыч!

— Высшую математику знаешь?

— Ну, и дальше что?

— Тогда прикинь: сколько воды нужно натаскать и нагреть, чтобы выдраить два котла и десять штук кастрюль?

Сплюнул от злости Попов и отправился за водой.

Попов не слукавил: подойди к нему Валера, попроси: «Оставайся, Сере — га», — остался бы. Ноги не шли в самолёт, на каждом шагу оборачивался, прислушивался, не зовёт ли кто, но никто не звал, даже проститься не пришли.

Ой, как не хотелось улетать одному!

Самолюбие заставили и обида. Васе и Пете поклонились, ему — нет. Почему? Любили их больше? Ну, Петя, положим, ангелок без нимба, его всякий погладит, а с Васей близок разве что его кошелек. Кто на стоянках в инпорту не считал валюты для-ради приятелей? Он, Серёга. Кого ни минуты в покое не оставляли, теребили: «А дальше что было?» Серёгу. Кому из штурманов батя верил больше всего? Ему, Серёге! Так почему же не подошли, не сказали по-человечески: «Брось ерепениться, кореш, поползём вместе»? Ломал голову, не мог понять, почему им поклонились, а ему нет.

Между тем никакого секрета здесь не было.

Иной человек при первом знакомстве не нравится, даже вызывает антипатию: он как бы присматривается к новым товарищам, не торопится лезть в компанию и потому кажется высокомерным, много о себе мнящим. Но понемногу обнаруживается, что это вовсе не высокомерие, а сдержанность и скромность, высокоразвитое чувство собственного достоинства; в деле нет лучше таких людей. И уважение товарищей приходит к ним не сразу, зато надолго и прочно.

Другой же — с первой минуты любимец, он не ждёт, пока его примут, — сам входит в компанию, заражает всех своей жизнерадостностью. Не человек, а дрожжи! Распахнутая душа — залезай, для всех места хватит! Но проходит время, и выясняется, что это внешний блеск — мишура, плёнка сусального золота, под которой скрывается обыкновенная железяка. А жизнерадостность, весёлость новичка — колокольный звон: отгремел и исчез, оставив после себя пустоту. И бывшее очарование уступает место равнодушию, которое тем глубже, чем больше обманулись товарищи в своих ожиданиях.

Таким был Сергей Попов. Но он этого не знал, так как размышлять, копаться в причинах и следствиях не привык; жизнь, пожалуй, ни разу не оборачивалась к нему сложной своей стороной. Повидал он немало, бывал во всяких передрыгах, но обычно за чьей-нибудь широкой спиной, и поэтому лёгкость в мыслях и порою разгульная лихость не мешали ему лавировать меж многих подводных камней, встречавшихся на его пути.

Серёга был в общем-то невредный парень, а штурман просто хороший. Иначе Гаврилов не брал бы его третий поход подряд. Весёлый, никогда не унывающий, Серёга мог в трудную минуту снять напряжение немудрёной шуткой, не обижался на критику — стряхивал её с себя, как попавший под дождь кот стряхивает капли воды, и лишь в работе серьёзnel — далеко не безразличен был к оценке своего штурманского ремесла. За исключительное умение точно определиться ему прощались и безудержное хвастовство, и цинизм, от

которого коробило даже воспитанных не в цветочной оранжерее походников, и неразборчивость в средствах — простительная, когда Серёга, например, стащил со склада три бутылки шампанского на день рождения бати и потом обезоруживающе признался в этом, и непростительная, когда дело касалось женщин. Даже Ленька, сам не святой, испытывал неловкость, слушая откровения штурмана, а Алексей однажды вспылил и в резкой форме сказал, что если Серёга «не заткнёт фонтан», пусть пеняет на себя.

Так что отношение к Попову было двойственное: его очень ценили как штурмана и не очень — как человека. К третьему походу Попов наконец заметил это, но самокритичности в нём не было ни на грош, и плохо скрываемую товарищами иронию штурман воспринял как зависть. Его шутки стали злее и не вызывали больше улыбок, а бахвальство, когда-то казавшееся забавным, раздражало. Прежде, когда Серёга с точностью до ста метров выходил к очередному гурию и, радостно хлопая себя по бёдрам, восклицал: «Такого штурмана поискать надо, а, братва?» все дружелюбно смеялись над его наивным самодовольством. А в последнем походе не смеялись, потому что Серёга теперь уже не просто бахвалился, а подчёркивал своё превосходство, убеждал товарищей в полной их от него зависимости.

Особенно обидно высказался он на Востоке, когда Гаврилов предложил каждому сделать выбор. Сам батя тогда вышел, чтобы не давить авторитетом, не мешать людям принять ответственное решение. Поговорили, поспорили.

— Чего там болтать попусту, всё равно полетим, — заявил Попов. — И обсуждать нечего.

— Это почему? — осведомился Валера.

— А потому, что лично я лечу.

— Ну, и что из этого следует? ~ А то, что без меня вы через сто километров будете звать маму! — И засмеялся, весело обводя товарищей глазами, как бы приглашая их оценить его остроумие.

— Ты умеешь ходить? — спросил тогда Игнат.

— Ну? — насторожился Попов.

— Вот и иди... сам знаешь иуда!..

Так что никакого секрета здесь не было.

И ещё одно опасение Попова не оправдалось: положение его оказалось вовсе не таким уж унижительным. В экспедициях никакая работа не считается зазорной: даже начальники отрядов дежурят по камбузу, подметают полы, когда подходит очередь. И то, что теперь за всех мыл посуду Попов, вовсе не роняло его в глазах товарищей. Кого-кого, а Попова никто не позволил бы себе обвинить в трусости, не многие могли похвастаться четырьмя походами (вернее, тремя с половиной) и зимовкой на мысе Челюскина, где Серёга самолично уложил двух медведей-людоедов (одного из карабина, другого, раненного, ножом) и километра четыре протащил на себе истекающего кровью метеоролога, Уловив сочувствие, Попов воспрянул духом: стал изображать из себя жертву несправедливости и мыл тарелки с видом низвергнутого с престола короля. По вечерам играл на бильярде, резался в «козла», вызываясь отворачивался, когда мимо проходил Макаров, и ронял реплики, из которых следовало, что начальство ещё пожалеет о своём самоуправстве.

Но так продолжалось недолго. Дней через десять в Мирном только и говорили о том, как Синицын подвёл Гаврилова, о сгоревшем балке Савостикова и небывалых морозах на трассе. Подобно морякам и лётчикам, полярники крепко спаяны священным законом взаимопомощи и тяжело переживают, когда обстоятельства не позволяют выручить товарищей из беды. Повсюду — и в рабочих помещениях, и в кают-компаниях, и в жилых домах положение поезда Гаврилова стало основной темой разговоров. Искали виновных, прикидывали шансы походников и с горечью соглашались, что шансы эти невелики.

Что ни день, предлагали Макарову проекты: вернуть «Обь» и наладить самолёты — напрасная затея, даже шестьдесят градусов для «ИЛ-14» предел; приказать Гаврилову вернуться на Восток — тоже плохо, на подходах к Востоку уже семьдесят семь, тягачи совсем встанут; сделать попытку расконсервировать Комсомольскую и переждать до октября

— безнадёжно: не хватит топлива и продовольствия; пойти навстречу поезду — не на чём: тягачей в Мирном нет, все в походе, а на двух тракторах без кабин и одном вездеходе на купол не пойдёшь: первая же порядочная пурга погубит.

Макаров дневал и ночевал на радиостанции, дважды в день вёл переговоры с Гавриловым. Восток и Молодёжная, Новолазаревская и Беллинсгаузена замерли в ожидании, неотрывно следя за судьбой похода.

Десять человек погибали — и весь мир не мог им помочь, Ну, не имел он такой возможности! Оборвись батискаф в Марианскую впадину — и то легче было бы придумать, как его спасти.

И отношение к Попову стало меняться.

Сначала по Мирному прокатился нехороший слухок, что Серёга знал про топливо и потому сдрейфил. Многие качали головами: «Какой Серёге резон было скрывать такое от бати?!» — но своё дело слухок сделал. Тщетно Попов сыпал проклятиями в адрес Синицына: «Убью Плеваку вот этими руками!» — тщетно клялся и божился, что ничего не знал, — слушали его все более недоверчиво. Если не знал, почему тогда оставил поезд, улетел?

Очень трудно, почти невозможно было убедительно ответить на этот вопрос. Мишка Седов, советовал: не суетись и не брызгай слюной, выступи на собрании и расскажи, что и как произошло, напomini, что никогда Попов не намазывал лыжи от драки.

Не решился повиниться перед людьми, а когда готов был это сделать, стало поздно: срок прошёл, вокруг образовался вакуум.

Был один эпизод в жизни Попова, который остался рубцом в памяти. Лето после одной из экспедиций он провёл в Крыму. Хорошо провёл, полноценно, как говорится, заслуженно отдохнул. Но не в этом дело. Из Крыма он собрался к родителям залететь — старики обижались: полтора года не виделись. Послал им телеграмму, что вылетает таким-то рейсом, но устроил в аэропортовском ресторане отвальную приятелям, малость перебрал и объявление о посадке прозевал. Размахивал билетом, совал почётные полярные документы — бесполезно, товарищ, посадка окончена, полетите следующим рейсом. Подумаешь, дела, следующим так следующим. Прилетел, явился домой — отец лежит в постели с кислородной подушкой, мать вся в слезах на кушетке, врач, соседи, кутерьма... Испугаться не успел: «Сыночек, живой!» С криком бросились к нему, обнимали, обцеловали всего.

Оказалось, при заходе на посадку разбился тот самолёт, на который он опоздал...

Попов чуть не помешался от такой удачи, от подаренной ему жизни. Сколько раз сам себе спасал жизнь — не считал: то ведь сам! — а этим случаем ужасно гордился и без конца о нем вспоминал, смакуя детали.

— Есть у меня один знакомый... — заметил как-то Гаврилов, — очень прилично зарабатывает, большие премии за изобретения получает. Человек как человек, не щедрый, не скупой — обыкновенный. И вдруг выиграл по лотерее мотоцикл. Ну, просто ошалел от счастья! Пять мотоциклов мог купить — не обеднел бы, но ведь этот дармовой, с неба свалился! Так и ты со своим самолётом. Люди-то погибли... Эх ты!..

Пропустил Попов батин укор мимо ушей, а теперь вспомнил. И поразился совпадению: уж очень похожи они оказались, та история и нынешняя. С тон лишь разницей, что тогда жизнь ему подарил случай, а теперь — дезертирство.

Дезертир!

Никто не бросил ему в лицо этого слова, но с того дня, как по Мирному разнеслось: «Батя умирает!» — Попов не слышал — видел в глазах людей это хлёсткое, как удар кнутом, обвинение. И хотя батя выжил, Попову стало ясно: отныне вину за любую неудачу походников будут возлагать на пего. Причина? Даже искать не надо, наверху лежит, с ярлыком приклеенным: «Сбежал, оставил поезд без штурмана!» Коснись это кого-то другого, он, Попов, наверняка думал бы так же. Древняя, как мир, истина: людям нужен козёл отпущения.

Все знали, и он лучше других: колея за Комсомольской кончилась, и поезд отныне ведёт Маслов. Батя — тот кое-как ещё мог определиться, а Борис — штурман липовый. К

тому же и солнце скрывается, а звезды и для бати и для Бориса — книга за семью печатями. Не выйти поезду к воротам!

Попов перестал на людях курить — услышал однажды: «А у них все курево сгорело!» Перестал ко вечерам ходить в кают-компанию — как-то взял кий, и от бильярда отошли все. Перестал смотреть кино — тесно, люди один на другом сидят, а вокруг Попова места пустуют... Радисты, к которым он бегал по пять раз на день, не желали по-человечески разговаривать, цедили сквозь зубы неразборчиво. В завтрак, обед и ужин Макаров зачитывал сводки от Гаврилова, и мойщик посуды физически ощущал, как десятки взоров обращаются в его сторону. Даже Мишка Седов, друг-приятель, с которым два похода хожено, являлся домой только ночевать, раздевался — и подушку на голову.

За свои тридцать четыре года Попов привык к тому, что люди относятся к нему по-разному. Одних покорял его лёгкий взгляд на жизнь, других отталкивал, одни навязывались ему в друзья, другие сторонились. Любили и ненавидели, были равнодушны и нетерпимы. Но никогда и никто Серёгу не презирал! Впервые от него отвернулись все, впервые ощутил он давящую человека, как трамвай, силу бойкота.

Сломали Попова. Самый общительный из общительных, весёлый и беззаботный трепач, он полюбил одиночество и лучше всего чувствовал себя тогда, когда ездил за мясом на седьмой километр, где находился холодный склад. Сидел за рычагами трактора и мечтал, что вернутся ребята живы-здоровы — ведь добрались до Пионерской, остались заструги и выход к воротам, расскажут все, как было, и снимут с него позорное обвинение. Будут снова жить вместе, в одном доме, в сентябре пойдут за брошенной техникой, а в декабре — в очередной поход на Восток. И все станет как раньше.

Возвращался — и узнавал, что сегодня определиться походники не смогли, что техника разваливается, жрать нечего и даже чай разогреть можно только на капельнице — без газа остались. А в ночь, когда связь с поездом оборвалась, Попов не сомкнул глаз.

Чувство непростительной вины перед батей, перед ребятами, которых он своим дезертирством обрёл на гибель, с огромной силой охватило его. Десять лет, всю жизнь бы отдал, чтобы оказаться с ними и разделить их участь.

Полночи лежал, курил, думал и решился на отчаянный шаг.

Или пан, или пропал!

ЗВЁЗДНАЯ МИНУТА СЕРГЕЯ ПОПОВА

Тайком, как вор, выскользнул из дома и проник на камбуз. Побросал в мешок несколько буханок хлеба, кругов десять копчёной колбасы, несколько банок говяжьей тушёнки, взвалил мешок на плечи и вышел. Оглянулся — тихо. Спит Мирный, только окна радиостанции светятся. Мороз градусов под тридцать, но без ветра — уже хорошо. Согнувшись в три погибели, побрёл к мысу Мабус, на цыпочках прокрался мимо дизельной электростанции и беспрепятственно добрался до гаража. Снова по-воровски оглянулся — никого...

Зажёг свет, внимательно осмотрел вездеход Макарова. Бак полный, траки в порядке, ящик с запасными частями, портативная газовая печурка на месте. Сунул в крытый брезентом кузов мешок с продуктами, канистры с бензином, закрепил их верёвкой. Ударил себя по лбу: забыл сигареты! Вернулся, взял два блока «Шипки», прихватил на камбузе двухлитровый термос с кофе. Кажется, все. Хорошенько прогрел вездеход — на дизельной электростанции гул такой, что никто не услышит, сел в кабину и помчался по Мирному. Увидел, как из дома начальника выскочил дежурный, весело заорал ему: «Гуд бай!» — и включил третью передачу.

Вездеход рванул во тьму по колее, проложенной к седьмому километру, круто повернул налево у сопки Радио и у памятника Анатолию Щеглову вышел на прямую. Попов привычно снял шапку: неподалёку от этого места провалился Щеглов в трещину...

Или пан, или пропал!

На седьмом километре колея кончилась. Попов сбросил газ, кивнул, как старой знакомой, установленной у склада вехе номер 1. Знакомая веха, не раз целованная — когда возвращались с Востока. Отсюда для походника начинается Антарктида.

Пройдёшь ещё сто девяносто девять вех — и упрёшься в ворота. Вывози, лошадка, назад ходу нет! Сколько сможешь, столько и вези. Дотянешь до поезда — спасибо, не дотянешь — поставят памятник, как Толе. Хотя вряд ли поставят дезертиру и злостному нарушителю производственной дисциплины. Отпишут родителям: «С глубоким прискорбием...» — и прикроют дело. Врёшь, не прикроют, долго не забудут человека по имени Сергей Попов! Кто ещё рискнул рвануть на вездеходе к сотому километру? Никто. Потому что смертельный риск — на одинокой машине идти на купол, а второй нет: тракторы-то без кабин! А Сергей Попов, трус и дезертир, плюнул на инструкции и отправился на прогулку — подышать свежим воздухом. Отворачивайтесь от Серёги, топчите его ногами!

Нас по «Харьковчанкам» разбросали, Сунули пельмени в зубы нам, Доброго пути нам пожелали И отправили ко всем чертям!..

Без спирта пьяный, с песней гнал Попов вездеход по коридору. Знал он его как свои пять пальцев, в уме проходил с закрытыми глазами — от вехи до вехи. Сейчас будет небольшой подъем, за ним спуск и снова подъемчик. Справа трещина «до конца географии», вот она, родимая, а мы мимо проскочим. Вот здесь со-овсем потихоньку, ползком, рядом притаилась, змея подколотная... А теперь вздохнуть с облегчением. Эх, было бы светло — километров тридцать в час дал бы на этом отрезке! Скоро, что-нибудь в 08.20, покажется верхний краешек солнца — если не заметёт, конечно. А солнце плюс фары — почти что день.

Почувствовал зверский голод, остановился. Оторвал от круга кусок колбасы, проглотил и запил кофе. Два литра кофе заменяют сутки сна — доказано медициной. А больше нам и не надо, за сутки мы обогнём земной шар вокруг экватора!

Вездеход, взревев, пополз на крутой и длинный, в сотни метров, подъем, проклятый всеми походниками самый тяжёлый подъем на купол. По два тягача в одни сани впрягали — еле втаскивали наверх к вехе, установленной на двадцать шестом километре. Отцепляли сани и спускались за другими — так называемая «челночная операция имени Сизифа». Тягачи стонали и выли, два-три дня, бывало, теряли на этом подъёме, а вездеход — за полчаса проскочил!

К двадцать шестому километру высота купола достигла семисот пятидесяти метров. Дальше подъем шёл пологий: временами он чередовался с небольшими спусками — дополнительные ориентиры, очень выгодные для штурмана. Невесомый, лёгкий в управлении вездеход так и напрашивался на максимальную скорость, но, хотя узкая полоска солнца обратила ночь в сумерки, Попов повёл машину осторожнее, чем раньше. Лихорадочное возбуждение улеглось, и он даже упрекал себя за малооправданный риск, с каким гнал вездеход по столь опасным местам. Пройдя веху, двигался теперь чуть ли не шагом и ускорял ход лишь тогда, когда фары брали под прицел очередной ориентир. На номера вех Попову не было нужды смотреть. Та, с башмаком на верхушке, — номер 56, эта, с развевающейся портянкой, — номер 60, а надписи на 67 и 70 — дело рук Тошки: «Дом отдыха „Вечный покой“ и „Пойдёшь направо — не забудь про завещание!“

Не машина — ласточка, в солнечный день за двенадцать часов до ворот долетела бы. Но и сорок километров за семь часов — совсем даже неплохо. Вот что плохо — не выспался: полтермоса кофе выдул, а всё равно разморило. На пятидесятом километре нужно будет отдохнуть, размяться маленько.

Стал вспоминать, что второпях забыл предусмотреть. Спальный мешок не взял? Черт с ним. Уровень масла не проверил!.. Ну, с маслом должен быть порядок, вездеход у Макарова всегда наготове, каждый день воевода свои владения объезжает. Только не сегодня, конечно. Сегодня небось рвёт и мечет, стружку снимает с дежурного.

Эта мысль так понравилась Попову, что он во весь рот заулыбался, довольный.

«Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне!» — припомнилась песенка, которую, вернувшись с фронта, любил мурлыкать отец. Возвращусь с батей и ребятами — тогда и суди Попова. Приказывай не посуду мыть, а хоть уборные чистить — в глаза тебе буду смеяться! Эх, житуха начнётся!..

Так хорошо было Попову сознавать, что кончились кошмары последних двух месяцев, так ликовала его душа при мысли о том, что на исходе суток он займёт своё штурманское кресло в «Харьковчанке», что не просто петь захотелось — орать во весь голос. Никогда ещё человек не выходил один на один с ледяным куполом, он, Попов, первый! «Неслыханное, чудовищное самовольство! — будут кричать. — Не нужны нам такие авантюристы!» И не надо, на коленях будете просить, сам больше к вам не пойду, хоть дёгтем характеристику пишите — словом не возражу. Плевать на характеристики, на все плевать, лишь бы ребятам, батю в глаза посмотреть! Сказать им: «Прости, батя, прости, братва, и спасибо за науку». Повторил про себя — понравилось, так и надо сказать. Обломали Серёгу, выбили дурь из головы, перед всеми повинюсь, за все. Моя у Варьки дочь — вернусь, признаю. Женюсь, если простит за хамство, или алименты платить буду. Старикам тоже поклонюсь: перебесился, скажу, баста, вместе начинаем жить. Снова на траулер пойду, привыкну как-нибудь...

Не повезло ему с морем. Четырнадцать лет назад окончил херсонскую мореходку и стал плавать штурманом на рыболовном траулере. Ещё когда в учебные плавания ходил, блевал даже в пустяковый шторм, одолевала морская болезнь; думал, привыкнет со временем, а не привык. Сначала жалели, подменяли в штормы на вахтах, а потом посоветовали списываться на берег. Жалко было потерянных лет, хорошего рыбацкого заработка, но «на чужой пай рта не разевай» — пришлось увольняться. И тут встреча в закуской с Колей Блиновым, бывшим приятелем по мореходке. Он был четвёртым штурманом на «Оби» и брался свести Серёгу с полярным начальством. Свёл — и переквалифицировался Серёга с морского штурмана на сухопутного. Зимовал на Крайнем Севере, потом в Антарктиде, ходил в походы, а в остальное время был у аэрологов и метеорологов на подхвате. За тринадцать лет семь с половиной отзимовал, благодарностей вагон получил и в заключение высшую награду — должность судомойки...

Кровью блевать буду — вылечусь от морской болезни, решил Попов. И тут же оставил себе маленькую лазейку: если не извинится миром, не уговорят забыть обиду. Не бедным родственником собирается Серёга возвратиться в Мирный, не посуду мыть на камбузе!

На пятидесятом километре остановил вездеход, вышел из кабины. Веха чуть видна, за три месяца на две трети замело. И трещина, что летом темнела в пяти шагах справа, светлым снежным мостиком покрылась — капкан замаскированный. Для интереса Ленёка Савостиков бросил тогда в неё сломанный палец от трака и услышал только через полминуты глухой стук — ухмылка на Ленёкином лице будто примёрзла. А слева до трещин метров десять — здесь коридор более или менее широкий. Только дышать стало труднее, высота уже девятьсот с лишним метров, так что с разминкой усердствовать не стоит. В походе на купол поднимаешься медленно, акклиматизируешься по степенно, а когда сразу взлетаешь на верхотуру — заметно. До семьдесят пятого километра подъёма почти не будет, зато последние двадцать пять снова идут к небу: высота у ворот, припомнил Попов, тысяча четыреста двадцать шесть метров.

Похолодел: показалось, что мотор чихнул. Кинулся к вездеходу, прислушался — вроде нормально. Сел за рычаги, двинулся вперёд и поклялся, что останавливаться больше не будет, незачем искушать судьбу. Долго ещё прислушивался, не мог унять дрожи в коленках. Случится что с мотором — верная прописка на острове Буромского: из Мирного на тракторе за ним не пойдут, а на поезд надежды мало. Раз до сих пор не показали, значит, либо не могут отыскать ворота, либо...

Скверная мыслишка: ну, поднимусь на сотый, поищу и не найду. А дальше что? Сколько искать — сутки, двое? А вдруг заметёт? Тогда придётся останавливаться и уповать на то, что мотор не заглохнет. Так он тебе и не заглохнет в пургу, держи карман шире, тут

закон подлости действует.

Устал, подумал Попов, вот и лезет в голову всякая ерунда. Глотнул из термоса, закурил. Почувствовал тошноту, выбросил сигарету. Газу, навер—ное, надышался, а может, высота действует. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест.

Солнце давным-давно скрылось; лёгкий ветерок взметал снег, и вести машину стало трудно. Вторую ночь Попов не спал. Голова налилась свинцом, сердце билось ощутимыми толчками, и, самое неприятное, подкатила и застряла у горла тошнота. Тормознул, приоткрыл дверцу, сунул палец в рот — вырвало с болью, жестоко. Два литра кофе выпил, перекурил. А не выпил бы — заснул. Нащупал рукой какую-то ветошь, вытер лицо. В нос ударил резкий запах бензина и отработанного масла, снова начало тошнить. Плохо, ой как плохо...

Пересилил тошноту, двинулся на первой передаче. Мишку Седова нужно было взять с собой, наверняка согласился бы Мишка. А вдруг доложил бы Макарову?.. Один на куполе не воин, плохо одному на куполе...

Вездеход резко накренился, послышался скрежет металла, и Попов больно ударился грудью о рычаги. Мгновенно среагировал, заглушил, мотор и, весь дрожа от напряжения, осторожно выбрался из кабины. По тому, что левая гусеница оторвалась от поверхности снега, понял: дело швах. Зажёг фонарик и увидел упёршийся в край трещины бампер. Была б она пошире сантиметров на тридцать, проскочил бы в неё, как яблоко.

Ещё не веря тому, что случилось, Попов осветил колею и убедился в том, что взял вправо. Притупилась реакция, на последних километрах споткнулся! Сон как рукой сняло, в голове просветлело. О том, чтобы попытаться дать задний ход и выбраться из ловушки, не могло быть и речи. Значит, «пешим по-танковому», как любил говорить батя. А снег на колее глубокий, почти поверх унтов...

Страшно залезать в вездеход, а нужно. Залез. Опустил на снег мешок с продуктами, взял ракетницу. Рассовал по карманам патроны и начал осторожно протискиваться в левую дверцу. Под правой гусеницей что-то хрустнуло, и Попов, не раздумывая, выбросился из кабины.

Вездеход ещё больше накренился: наверное, достаточно толчка, чтобы бампер соскользнул со своего ненадёжного ледяного упора. «Прощай, лошадка», — горестно подумал Попов. Взвалил на плечи мешок — тяжёлый, черт, пуда два потянет, и, подсвечивая себе фонариком, двинулся в гору. Через несколько шагов задохнулся; остановился, выбросил из мешка две буханки хлеба. Перевёл дух и пошёл дальше. Добрался до вехи номер 196, погоревал, что самую малость лошадка не дотянула, и долго, минут десять, отдыхал, сидя на мешке.

Ноги тонули в снегу, и вытаскивать их стало неважготу. Одну за другой выкинул остальные три буханки, а на верхушку очередной вехи насадил пять кругов колбасы — чтобы легче найти, если будет такая нужда. Хотел отдохнуть дольше, но почувствовал, что замерзает, и двинулся в путь. К вехе 198 уже не шёл, а едва ли не полз, падал, вставал и еле переставлял ноги. Ветерок перехватывал и без того сбитое дыхание, и если бы оставался не один несчастный километр, а два или три, незачем было бы играть в ату проигранную игру. Мешок решил оставить здесь — возле вехи, — только сунул в карман кусок колбасы и несколько пачек «Шипки».

Ветер все усиливался, холод прокрался в рукавицы, пробил заледеневший от лота и слез подшлемник и добрался до самого нутра. Отупевшему мозгу становилось все труднее управлять очугуневшим телом, и Поповым начало овладевать равнодушие. Где-то в глубине сознания теплилась лишь одна мысль: нужно во что бы то ни стало дойти до ворот, и тогда все будет хорошо. Падая в снег, он теперь подолгу лежал, уже не боясь, что замёрз — нет, но та мысль всё-таки имела над ним какую-то власть, заставляла вставать и идти.

К двухсотой вехе он вышел почти что наугад, так как фонарик потерял. Хрипя, прислонился к гурию, упал и, наверное, мгновенно бы уснул, но сильно ударился головой о край бочки и от боли очнулся. Поднялся, открыл воспалённые глаза, прислушался, но ничего

не увидел и не услышал. Вспомнил про ракетницу, вытащил её и заплакал: она выпала из одеревеневшей руки. Начал бить руками по бёдрам, пока не почувствовал невыносимую боль в помороженных кистях, и тогда, сжав зубы, поднял ракетницу. Сунул в неё патрон и нажал на спуск. Не глядя на рассыпающиеся в небе огни, снова зарядил ракетницу и хотел выстрелить, но палец никак не сгибался, и пришлось снова изо всей силы бить руками по бёдрам. Но один удар оказался неудачным, и по чудовищной, дикой боли Попов догадался, что, наверное, вывихнул палец. После многих попыток приноровился, зажал меж колен ракетницу, левой здоровой рукой зарядил её, изловчился и выстрелил, потом ещё и ещё, уже плохо соображая, что и зачем он делает. Расстреляв все ракеты, прислонился к гурию, сел и уставился на вдруг вынырнувшие откуда-то сбоку огни. Помотал головой, натёр лицо снегом — всё равно огни!

«Харьковчанка», догадался Попов и удивился тому, что она идёт одна. Почему одна? Нужно не забыть спросить, куда делись ещё два тягача. К нему бежали люди, а он сидел и силился вспомнить, что ещё хотел у них спросить. Вспомнил! Нужно сказать: «Прости, батя, прости, братва...» — и ещё что-то.

Но ничего сказать он уже не мог и лишь беспомощно пытался раскрыть рот и всхлипывал, когда его подняли и понесли куда-то на руках. И быстро затих и заснул.

Так что лучшую, звёздную минуту своей жизни Сергей Попов проспал.

Поезд шёл по Антарктиде.